

Бессмертники

Автор:

Хлоя Бенджамин

Бессмертники

Хлоя Бенджамин

1969-й, Нью-Йорк. В Нижнем Ист-Сайде распространился слух о появлении таинственной гадалки, которая умеет предсказывать день смерти. Четверо юных Голдов, от семи до тринадцати лет, решают узнать грядущую судьбу. Когда доходит очередь до Вари, самой старшей, гадалка, глянув на ее ладонь, говорит: “С тобой все будет в порядке, ты умрешь в 2044-м”. На улице Варю ждут мрачные братья и сестра. В последующие десятилетия пророчества начинают сбываться. Судьбы детей окажутся причудливы. Саймон Голд сбежит в Сан-Франциско, где с головой нырнет в богемную жизнь. Клара после встречи с гадалкой с каждым годом все глубже будет погружаться в мечты, желая преодолеть грань между фантазией и реальностью. Дэниэл станет военным врачом, и жизнь он будет вести размеренную, пока не вмешается та самая судьба. Варя посвятит себя изучению проблемы бессмертия, балансируя между наукой и вымыслом. Удивительной глубины роман о связи неизбежности и свободы выбора, о переплетении иллюзии и реальности, о силе семейных связей и силах, их разрывающих.

Хлоя Бенджамин

Бессмертники

Посвящается моей бабушке, Ли Круг

THE IMMORTALISTS by Chloe Benjamin

Copyright: © 2018 by Chloe Benjamin

Перевод с английского Марины Извековой

Пролог

Гадалка с Эстер-стрит

1969. Варя

Варе тринадцать.

За последнее время она выросла на три дюйма, между ног уже темнеет пушок. Грудь умещаются в ладонях, розовые соски – с мелкую монету. Волосы до пояса, русые – ничего общего ни с тёмным ёжиком Дэниэла, ни с лимонно-жёлтыми кудрями Саймона, ни с Кларинными медно-рыжими локонами. По утрам она заплетает их в две французские косы; приятно, когда они на ходу хлещут по спине лошадиными хвостами! Нос пуговкой – ни на чей в семье не похож, так она пока думает. К двадцати годам он вытянется, обретёт орлиную величавость – точь-в-точь как у мамы. Но до этого ещё далеко.

Они шагают по кварталу дружной четвёркой: Варя, старшая; одиннадцатилетний Дэниэл, девятилетняя Клара и семилетний Саймон. Дэниэл впереди, ведёт их с Клинтон-стрит на Деланси-стрит, потом налево, на Форсайт-стрит. Они огибают парк Сары Рузвельт, держась в тени деревьев. Вечерами в парке буянят, однако во вторник утром здесь почти никого, лишь кое-где молодые люди валяются лицом в траву, отсыпаясь после антивоенных акций.

По Эстер-стрит они идут молча. Надо скорей миновать отцовское ателье “Мастерская Голда”; отец, конечно, их вряд ли заметит – Шауль обычно с головой погружен в работу, будто не брюки шьет, а вселенную творит, – и всё-таки он может разрушить очарование этого душного июльского дня, стать преградой на пути к зыбкой, призрачной цели, что маячит впереди на Эстер-стрит.

Саймон хоть и младший, но не отстаёт. На нём обрезанные джинсы, доставшиеся от брата; Дэниэлу в семь лет они были впору, а худенькому Саймону великоваты. В руке болтается сумка из китайки, затянутая шнурком, внутри шуршат банкноты да весело позвякивает мелочь.

– Где это? – спрашивает Саймон.

– Кажется, здесь, – говорит Дэниэл.

Они смотрят на старый дом, расчерченный зигзагами пожарных лестниц, на тёмные окна пятого этажа, за которыми, по слухам, обитает та, кого они ищут.

– Как туда попасть? – спрашивает Варя.

Дом почти такой же, как их собственный, только не коричневый, а бежевый, и этажей не семь, а пять.

– Давайте позвоним, что ли, – предлагает Дэниэл. – Пятый этаж.

– Ага, – кивает Клара. – А номер квартиры?

Дэниэл достаёт из заднего кармана скомканный магазинный чек. И краснеет.

– Не знаю точно.

– Дэниэл! – Варя, привалившись к стене, обмахивается: жара под тридцать градусов, лицо в испарине, влажная юбка липнет к ногам.

- Погодите, - просит Дэниэл, - дайте вспомнить.

Саймон садится прямо на асфальт, матерчатая сумка медузой плюхается между колен. Клара выуживает из кармана ириску, но едва успевает развернуть, как дверь подъезда распахивается и выходит парень в лиловых очках и распахнутой рубашке в "индийский огурец".

Он кивает Голдам:

- Хотите зайти?

- Да, - отвечает Дэниэл. - Пошли.

И делает шаг вперед, благодарит парня в лиловых очках и, не дожидаясь, пока дверь захлопнется, первым заходит в подъезд, подавая пример остальным, - Дэниэл, их бесстрашный незадачливый вожак, он-то всё и затеял.

На прошлой неделе он зашёл к Шмульке Бернштейну в лавку кошерной китайской еды - захотелось горячего пирожка с заварным кремом, вкусного даже в жару - и услышал разговор двух мальчишек. Очередь длинная, вентиляторы на всю катушку - пришлось вытянуть шею, чтобы расслышать, что они говорили о постоялице с верхнего этажа дома на Эстер-стрит.

По дороге домой, на Клинтон-стрит, семьдесят два, сердце у Дэниэла подпрыгивало. В спальне Клара и Саймон играли на полу в "горки-лесенки"[1 - Настольная игра с фишками и кубиком. - Здесь и далее примеч. перев.], Варя лежала с книгой у себя наверху. Зоя, чёрно-белая кошка, растянулась на батарее, нежась в солнечном квадрате.

Тут Дэниэл и выложил им свой план.

- Ничего не понимаю. - Варя упёрлась грязной подошвой в потолок. - Чем именно она всё-таки занимается?

- Я же говорил! - Дэниэл весь кипел. - У неё есть сверхсилы!

– Какие? – спросила Клара, передвигая фишку. Всю первую половину лета она разучивала карточный фокус “туз Гудини”, но получалось пока не ахти.

– Говорят, – объяснил Дэниэл, – она судьбу умеет предсказывать. Знает, что тебя ждёт – хорошая жизнь или плохая. И кое-что ещё. – Дэниэл наклонился вперёд, упершись обеими руками в дверной косяк. – Она знает, кто когда умрёт.

Клара встрепенулась.

– Ерунда! – фыркнула Варя. – Этого никто сказать не может.

– А если может? – не сдавался Дэниэл.

– Тогда я не хочу знать.

– Почему?

– Потому что. – Варя отложила книгу и села на кровати, свесив ноги. – А вдруг что-нибудь плохое скажут? Вдруг она скажет, что ты умрёшь маленьким?

– Тогда уж лучше знать, – решил Дэниэл. – Чтобы все дела успеть доделать.

Все замолчали. И вдруг Саймон расхохотался, трепеща всем телом, как птичка. У Дэниэла вспыхнули щёки.

– Я не шучу, – сказал он. – Возьму да пойду. Ни дня больше не выдержу здесь, взаперти. С меня хватит. Кто, чёрт подери, со мной?

Может статься, вся затея кончилась бы ничем, не будь на дворе макушка лета – позади полтора месяца душной скуки, впереди ещё столько же. Кондиционеров в квартире нет, и вдобавок в тот год, 1969-й, им кажется, будто всё самое интересное в жизни проходит мимо. Другие упиваются в стельку в Вудстоке и горланят “Волшебника пинбола”[2 - “Волшебник пинбола” (Pinball Wizard) – композиция группы The Who из рок-оперы “Томми”.], смотрят “Полуночного ковбоя” – фильм, на который детей Голд не пускают. Они устраивают беспорядки в “Стоунволл-инн”[3 - “Стоунволл-инн” (Stonewall Inn) – гей-бар на

Кристофер-стрит в манхэттенском квартале Гринвич-Виллидж. В 1969 г. полицейская облава в “Стоунволл-инн” привела к первому крупному протестному выступлению геев, вошедшему в историю как “стоунволлские бунты”. В 2000 г. “Стоунволл-инн” объявлен национальным историческим памятником.], вышибают двери парковочными счётчиками, бьют стёкла, крушат музыкальные автоматы. Их убивают самыми изуверскими способами – взрывают, расстреливают очередями по пятьсот пятьдесят пуль, – а их лица тут же, с немыслимой быстротой, появляются в телевизоре на кухне у Голдов. “Сукины дети, по луне ходят!” – сказал Дэниэл (с недавних пор он щеголяет крепкими словечками, но лишь на безопасном расстоянии от матери). Джеймс Эрл Рей[4 - Джеймс Эрл Рей (1928–1998) – предполагаемый убийца Мартина Лютера Кинга. Был приговорён судом к 99 годам заключения.] осуждён, Серхан Серхан[5 - Серхан Бишара Серхан (р. 1944) – палестинец, антисионист; согласно общепринятой версии, 5 июня 1968 г. застрелил Роберта Кеннеди, кандидата в президенты СИТА. В 1969 г. был приговорён к смертной казни, впоследствии приговор был смягчён до пожизненного заключения.] тоже, а дети Голд знай себе играют в камушки и вышибалы, да метают дротики, да вытаскивают Зою из её нового дома в дымоходе за плитой.

И ещё кое-что создавало нужный для паломничества настрой: в то лето они были едины, как никогда уже не будут. На следующий год Варя поедет в Катскильские горы с подругой Авивой, Дэниэл приобщится к тайным ритуалам дворовых мальчишек, а Клара и Саймон останутся неприкаянными. А сейчас, летом 1969-го, они близки, и братство их нерушимо.

– Я с тобой, – вызвалась Клара.

– И я, – подал голос Саймон.

– А как к ней попасть? – спросила Варя. К тринадцати годам она успела усвоить, что даром ничего на свете не даётся. – Сколько она берёт?

Дэниэл нахмурился:

– Узна?ю.

Так всё и началось – как тайна, как опасное предприятие, как предлог улизнуть от неповоротливой грузной матери, без конца что-то требовавшей, стоило ей застать их без дела в спальне, – то бельё развесить, то вытащить из трубы чёртову кошку. Дети Голд расспросили кого могли в округе. Хозяин магазинчика для фокусников в китайском квартале слышал о женщине с Эстер-стрит. Она кочует с места на место, объяснил он Кларе, колесит по стране, предсказывает людям судьбу. Когда Клара уже собралась уходить, он поднял палец, исчез в чулане и вернулся с увесистой “Книгой гаданий”. На обложке – шесть пар распахнутых глаз в окружении символов. Клара заплатила шестьдесят пять центов и с книгой в обнимку поспешила домой.

Кое-кто из соседей на Клинтон-стрит, семьдесят два, тоже слышал о гадалке. Миссис Блюменштейн встречалась с ней в пятидесятых, на роскошном приёме – так она сказала Саймону. Она вывела на парадное крыльцо своего шнауцера, и тот оставил катышек величиной с пилюлю на ступеньке, где сидел Саймон, а миссис Блюменштейн даже не потрудились убрать.

– Она прочла мне по руке. Сказала, что жить я буду очень долго. – Миссис Блюменштейн наклонилась к Саймону для выразительности. Саймон старался не дышать: изо рта у миссис Блюменштейн пахло тленом, будто она ещё при рождении запаслась воздухом и только сейчас, спустя девяносто лет, выдохнула. – Как видишь, мой мальчик, она не ошиблась.

Индусы с шестого этажа говорили, что она ришика, пророчица. Варя завернула в фольгу кусочек кугеля[б - Кугель – блюдо традиционной еврейской кухни, вид запеканки (на идише означает “круглый”).], что испекла Гerti, и принесла Руби Сингх, своей соседке и однокласснице по школе номер 42, в обмен на тарелку тушёной курятины с маслом и специями. Они ели на пожарной лестнице, свесив голые ноги и глядя, как заходит солнце.

Руби знала про гадалку.

– Два года назад, – рассказывала она, – когда мне было одиннадцать, заболела бабушка. Врач сказал, сердце. И жить ей осталось месяца три, не больше. А другой врач говорит: сил у неё пока много, поправится, пару лет ещё протянет.

Внизу просвистело по Ривингтон-стрит такси. Руби, обернувшись, покосилась на пролив Ист-Ривер, бурозелёный от ила и нечистот.

– Индус умирает дома, – продолжала она, – в кругу семьи. Даже папины родные из Индии рвались сюда, но что бы мы им сказали – поживите у нас пару лет? А потом папа услышал о ришике. Пошёл к ней, и она назвала дату – день, когда дади[7 - Так называют в Индии бабушку по отцовской линии.] должна умереть. Мы поставили кровать дади в гостиной, изголовьем на восток.

Зажгли лампу и бодрствовали у её постели – молились, пели гимны. Папины братья прилетели из Чандигарха. Я сидела на полу с двоюродными братьями-сёстрами. Было нас человек двадцать, а может, и больше. Когда дади умерла шестнадцатого мая, как предсказала ришика, все мы плакали от облегчения.

– И не злились?

– А на что злиться?

– Что она не спасла бабушку, – объяснила Варя, – не вылечила.

– Зато дала нам возможность проститься, а это бесценно. – Руби доела последний кусочек кугеля, свернула пополам фольгу. – Да и не смогла бы она вылечить дади. Она, ришика, знает будущее, но изменить не в силах. Она же не Бог.

– Где она сейчас? – спросила Варя. – Дэниэл слышал, она снимает квартиру на Эстер-стрит, но номера он не знает.

– И я не знаю. Она нигде подолгу не задерживается. Так безопаснее.

В квартире у Сингхов что-то упало и разбилось, кто-то закричал на хинди.

Руби вскочила, стряхнула с юбки крошки.

– То есть как – безопаснее? – спросила, тоже вставая, Варя.

– Таких, как она, всегда кто-нибудь да преследует, – объяснила Руби. – Мало ли что ей известно.

– Рубина! – позвала миссис Сингх.

– Мне пора. – Руби влезла в окно и закрыла его за собой, а Варя спустилась по пожарной лестнице на четвёртый этаж.

Варя удивилась: о гадалке идёт такая слава, но при этом знают о ней не все. Когда она спросила о пророчице у продавцов в лавке Каца, с вытатуированными на руках номерами, те уставились на неё в ужасе.

– Мелюзга, – сказал один, – вам зачем в это ввязываться? – Голос у него был резкий, будто Варя его оскорбила. Взволнованная Варя ушла, забрав свой бутерброд, и больше разговоров о гадалке ни с кем не заводила.

В конце концов те же ребята, чей разговор подслушал Дэниэл, дали ему адрес. Не прошло и недели, как он наткнулся на них на пешеходной стороне Вильямсбургского моста – те, свесившись через перила, попыхивали косячками. Они были старше, лет по четырнадцать, и Дэниэл заставил себя признаться, что подслушивал, а потом спросил, знают ли они ещё что-нибудь.

Ребята, похоже, были не в обиде. Номер дома, где, по слухам, жила гадалка, они назвали охотно, но как к ней попасть, не знали. Кажется, к ней нельзя с пустыми руками, следует что-то принести в дар. Одни говорят, деньги, другие – что денег у неё и так полно, надо выдумать что-нибудь этакое. Один мальчишка подобрал на обочине раздавленную белку – подцепил щипцами, положил в пакет, завязал и принёс. Но Варя возмутилась – мол, никому такая пакость не нужна, даже гадалке, – и они сложили в матерчатую сумку все свои сбережения в надежде, что им хватит.

Когда Клары не было дома, Варя достала из-под её кровати “Книгу гаданий” и залезла к себе на верхний ярус. И, лёжа на животе, повторяла вслух слова: гаруспиция (гадание по внутренностям жертвенных животных), ксероскопия (на растопленном воске), лозоискательство (с помощью прута). В прохладные дни трепещут на сквозняке родословные древа и старые фотографии, припиленные к стене возле Вариной кровати. Они помогают Варе постичь прихотливую тайную игру генов – те прячутся, а потом всплывают снова, передаются через поколение. Дэниэл, к примеру, уродился долговязым не в отца, а в дедушку Льва.

Лев прибыл в Нью-Йорк на пароходе с отцом, торговцем тканями, в 1905-м, после того как во время погромов погибла его мать. На острове Эллис их осмотрел врач, потом им задавали вопросы по-английски, а они отвечали, глядя на гигантский кулак железной статуи, равнодушно взиравшей на них со стороны моря, которое они только что пересекли. Отец Льва ремонтировал швейные машины, а Лев работал на швейной фабрике, хозяин которой, немецкий еврей, разрешил ему соблюдать шаббат. Лев дослужился до помощника управляющего, затем – до управляющего. В 1930-м он завёл своё дело – “Швейную мастерскую Голда”, обустроившись в полуподвале на Эстер-стрит.

Варю назвали в честь бабушки – она работала у Льва бухгалтером, пока оба не отошли от дел. О родных по материнской линии она знает не так много – лишь то, что другую бабушку звали Кларой, как Варину младшую сестру, и что приехала она из Венгрии в 1913 году. Но бабушка умерла, когда Мариной маме, Герти, было всего шесть лет, мама о ней почти не рассказывает. Однажды Клара с Варей прокрались в спальню матери, поискать какие-то следы бабушки и деда. Словно ищейки, они чужали тайну, окружавшую эту пару, пьянящий дух интриг и страстей – потому и сунули нос в комод, где Герти хранила бельё. В верхнем ящике обнаружилась небольшая деревянная шкатулка, лаковая, с золотым замочком. Внутри лежала стопка пожелтевших фотографий смешливой брюнетки – стриженная невысокая девушка с тяжёлыми веками. Вот она в трико с юбочкой, подбоченилась, подняв над головой трость. Вот скачет на лошади, выгнувшись назад, в амазонке с глубоким вырезом. Но самая, пожалуй, удачная фотография – где она болтается в воздухе, держась за верёвку зубами.

В том, что брюнетка на фото – их бабушка, они скоро убедились. Ещё на одной карточке, измятой, захватанной жирными пальцами, она стояла рядом с высоким мужчиной и маленькой девочкой. В девочке с пухлыми кулачками, цеплявшейся за руки родителей, Варя и Клара без труда узнали мать – это испуганное выражение лица ни с чем не спутаешь.

Клара тут же присвоила шкатулку вместе со всем содержимым.

– Чур, моё! – заявила она. – Меня в честь неё назвали! А мама всё равно туда не заглядывает.

Но, как очень скоро выяснилось, она ошибалась. Наутро после того, как Клара утащила шкатулку к себе в комнату и спрятала под кровать, из родительской спальни донёлся вопль, а следом – гневный голос Герти и виноватое бормотание

Шауля. Спустя несколько секунд Герти ворвалась в детскую:

– Кто взял?! Кто?!

Ноздри её раздувались, а внушительные бедра заслонили весь свет, что обычно лился из прихожей. От ужаса Клару бросило в жар, она чуть не расплакалась. Когда Шауль ушёл на работу, а Герти вернулась в кухню, Клара прошмыгнула в родительскую спальню и водворила шкатулку на место. Но, оставаясь одна в пустой квартире, Клара неизменно разглядывала фото миниатюрной женщины. И, любуясь её дерзостью, клялась быть достойной своего имени.

– Хватит озирааться, – шипит Дэниэл. – Ведите себя как дома.

Бежевая краска на стенах облупилась, в подъезде темно. Они взбегают по лестнице. На пятом этаже Дэниэл останавливается.

– Ну и что дальше? – шепчет Варя. Ей нравится подзуживать Дэниэла.

– Подождём, – отвечает Дэниэл. – Кто-нибудь да выйдет.

Но Варе не терпится. Дрожа от нежданного страха, она пускается вдоль лестничной площадки одна.

Варя ожидала, что волшебство хоть как-то себя проявит, но все двери на одно лицо, с исцарапанными медными ручками и номерами. Вот квартира номер пятьдесят четыре – четвёрка на двери покосилась. Внутри бубнит то ли радио, то ли телевизор: бейсбольный матч. Варя отходит в сторону – вряд ли ришика станет интересоваться бейсболом.

Остальные разбрелись кто куда. Дэниэл застыл у перил, руки в карманах, разглядывает двери. Саймон, пристроившись к Варе, встаёт на цыпочки и поправляет покосившуюся четвёрку. Клара куда-то убрела, но вскоре возвращается, становится рядом. Вокруг неё облако аромата – шампунь “Брек Золотая Формула”, Клара неделями откладывала на него карманные деньги; вся семья пользуется “Преллом” – в тюбиках, как зубная паста, серо-зелёным, как морская капуста. Варя хоть и посмеивается над Кларой – как можно спускаться

столько денег на шампунь? – но в глубине души завидует сестре, пахнувшей розмарином и апельсинами. Клара тем временем стучит в дверь.

– Ты что? – шикает Дэниэл. – Мало ли кто там живёт! А вдруг...

– Кто там? – Голос за дверью басовитый, неприветливый.

– Мы к гадалке, – робко произносит Клара.

Тишина. Варя стоит не дыша. В двери прорезан глазок, такой узенький, что не вставишь и карандаш.

За дверью слышен кашель.

– По одному, – командует голос.

Варя ловит взгляд Дэниэла. Они не были готовы к тому, что им придётся разлучаться. Но посоветоваться они не успевают: щёлкает задвижка, и Клара – о чём она только думает? – проскальзывает внутрь.

Никто не знает точно, сколько времени нет Клары, – Варя кажется, много часов. Она садится на корточки, вжавшись в стену, колени к груди. Ей вспоминаются сказки про ведьм, как те заманивают детей и съедают. Страх, зародившийся в сердце, прорастает, пускает корни. Наконец дверь приоткрывается.

Варя вскакивает, но Дэниэл оказывается проворней. Сквозь узкую щёлку не видно, что делается в квартире, но слышна музыка – ансамбль мариачи? – и звяканье кастрюль на плите.

Дэниэл, уже стоя в дверях, оборачивается.

– Не бойтесь, – подбадривает он Варю и Саймона.

Но как тут не бояться?

– Где Клара? – спрашивает Саймон, когда Дэниэл исчезает за дверью. – Почему не вышла?

– Там, внутри, – заверяет Варя, хотя её мучает тот же вопрос. – Мы с тобой найдём, а они там, Клара и Дэниэл. Наверное, просто... ждут нас.

– Зря мы всё это затеяли, – бурчит Саймон. Его золотые локоны прилипли ко лбу. Варя старшая, должна его опекать, но Саймон для неё загадка; одна Клара его понимает. Он самый молчаливый из них. За ужином сидит насупившись, глаза стеклянные. Зато шустрый как заяц! Бывает, идёшь с ним в синагогу, и вдруг оказывается, что идёшь одна. Подумаешь, что забежал вперёд или отстал, но всякий раз кажется, будто испарился.

Когда вновь приоткрывается дверь – как в прошлый раз, самую малость, – Варя кладёт руку Саймону на плечо. Варя не из храбрых: хоть она и старшая, но предпочитает зайти последней.

– Смелей, Сай. Заходи, а я тут покараулю, хорошо?

Непонятно, зачем караулить – в подъезде всё так же пусто, – но Саймон как будто приободрился. Откинув со лба завиток, он заходит.

Одной еще страшнее. Варя отрезана от сестры и братьев, будто смотрит с берега, как исчезают вдали их корабли. Надо было их отговорить. Дверь открывается снова. Над верхней губой у Вари выступила испарина, пояс юбки влажен от пота, но отступить уже некуда, младшие ждут. Варя толкает дверь.

Крохотная квартирка так захламлена, что в первый миг среди скарба не видно хозяйки. На полу громоздятся стопки книг, словно игрушечные небоскрёбы, стеллажи в кухне вместо продуктов заняты газетами, а на длинном столе свалены припасы – крекеры, сухие завтраки, супы в банках, разноцветные пачки чая всевозможных сортов. Игральные карты, Таро, астрологические схемы и календари – один с китайскими иероглифами, другой с римскими цифрами, третий с фазами Луны. На пожелтевшем плакате – гексаграммы И-Цзин, знакомые Варе по Клариной “Книге гаданий”. Ваза с песком, гонги и медные кубки, лавровый венок; тонкие деревянные палочки с резным узором; чаша с камнями, к некоторым привязаны длинные куски бечёвки.

Лишь крохотный закуток возле двери расчищен от хлама. Здесь приютились складной стол и два таких же стула. Рядом столик поменьше, с букетом искусственных алых роз и раскрытой Библией. Вокруг Библии – два белых гипсовых слоника, свеча, деревянный крест и три статуэтки: Будда, Дева Мария, а третья с табличкой, где написано от руки: “Нефертити”.

Варю захлёстывает чувство вины. В еврейской школе им рассказывали об идолопоклонстве, и она внимательно слушала, как рабби Хаим читал отрывки из трактата Авода Зара[8 - Авода Зара (букв, “служение чужим”, т. е. идолопоклонство) – в иудаизме один из трактатов Талмуда, посвящён взаимоотношениям между иудеями и язычниками, запрещает идолопоклонство в любой форме.]. Знай родители, что Варя здесь, были бы недовольны. Но ведь и Вариных родителей, и гадалку – всех создал Бог, разве нет? В синагоге Варя исправно молится, но Бог никогда ей не отвечает. А ршика, если на то пошло, хотя бы ответит.

Хозяйка, стоя возле раковины, насыпает заварку в изящный металлический шарик. На ней свободное хлопчатобумажное платье, кожаные сандалии, голова повязана тёмно-синим платком; длинные каштановые волосы заплетены в две тощие косицы. Хоть она и грузная, но движения легки и точны.

– Где мои братья и сестра? – спрашивает Варя хрипло, стесняясь своего голоса, в котором сквозит отчаяние.

Женщина достаёт с верхней полки кружку и опускает туда металлический шарик. Шторы задёрнуты.

– Скажите, – просит Варя, на этот раз громче, – где мои братья и сестра?

На плите свистит чайник. Хозяйка выключает горелку, наклоняет чайник над кружкой. Мощной чистой струёй льётся вода, аромат трав наполняет комнату.

– Вышли, – отвечает хозяйка.

– Неправда. Я ждала в подъезде, но никто не появился.

Женщина подходит к Варе. Дряблые щёки, нос картошкой, губы бантиком. Кожа смугло-золотистая, как у Руби Сингх.

– Если не доверишься мне, ничегошеньки у меня не выйдет, – говорит она. – Разувайся. А потом можешь сесть.

Пристыженная, Варя скидывает двухцветные туфли и оставляет под дверью. Может быть, гадалка права. Если ей не доверять, значит, зря они сюда пришли – зря рисковали, прятались от родителей, зря копили деньги. Она садится возле складного стола. Хозяйка ставит перед ней кружку чая, и Варе тут же приходят на ум зелья, яды, Рип ван Винкль, уснувший на двадцать лет. И тут она вспоминает о Руби Сингх. “Ришика всё знает, – говорила Руби. – Это бесценно”. Варя подносит кружку к губам и отпивает.

Ришика садится напротив, оглядывает Варю – сведённые плечи, вспотевшие ладони, застывшее лицо.

– Тяжело у тебя на душе – да, детка?

От неожиданности Варя сглатывает, качает головой.

– Ждёшь, когда полегчает?

Варя сидит неподвижно, лишь сердце колотится.

– Что-то тебя гнетёт, – кивает женщина. – Ты измучилась. На лице у тебя улыбка, а на сердце тяжесть. Несчастлива ты, одинока. Верно?

Варя беззвучно шевелит губами в знак согласия. Сердце так и рвётся от нахлынувших чувств.

– Вот беда, – продолжает гадалка. – А теперь за дело. – И, щелкнув пальцами, указывает на Варину левую ладонь: – Руку.

Варя съезжает на краешек стула и протягивает ришике руку; та берёт её в свои прохладные ладони, ощупывает проворными пальцами. Варя прерывисто дышит. Обычно она избегает касаться чужих людей, от посторонних её отделяет

защитная преграда, словно невидимый плащ. Возвращаясь домой из школы, где парты испещрены отпечатками грязных пальцев, а на игровой площадке кишит сопливая малышня, она моет руки чуть не до мозолей.

– Вы правда такое умеете? – спрашивает Варя. – Вы знаете, когда я умру?

Варю пугают неожиданные зигзаги судьбы: обычные на вид таблетки, которые расширяют сознание и переворачивают мир вверх тормашками; или когда солдат, выбранных случайно, посылают в бухту Камрань или на гору Донг-Ап-Биа, где в зарослях бамбука и трёхметровой слоновой травы полегла в мае тысяча человек. Был у неё одноклассник в сорок второй школе, Юджин Богопольски, и троих его братьев отправили во Вьетнам, когда Юджину с Варей было по девять лет. Все трое вернулись, и семья устроила праздник в квартире на Брум-стрит. А через год Юджин нырнул в бассейн, ударился головой о цементное дно и погиб. Дата смерти – главное и, может быть, единственное, что ей хочется знать наверняка.

Гадалка смотрит на Варю, чёрные глаза блестят, как стеклянные шарики.

– Я могу тебе помочь, – говорит она, – изменить твою жизнь к лучшему.

И принимается изучать Варину ладонь: общий рисунок, пальцы – короткие, с квадратными ногтями. Осторожно оттягивает Варин большой палец, он почти не гнётся. Смотрит на промежуток между мизинцем и безымянным, ощупывает кончик мизинца.

– Что вы там высматриваете? – беспокоится Варя.

– Твой характер. Слышала о Гераклите? (Варя мотает головой.) Греческий философ. “Характер – это судьба” – так он говорил. Характер и судьба идут рука об руку, как брат с сестрой. Хочешь будущее узнать? Загляни в зеркало.

– А вдруг я изменюсь? – Варе не верится, что судьба уже внутри неё, словно актриса, десятилетиями ждущая за кулисами выхода на сцену.

– Значит, ты особенная. Обычно люди не меняются.

Ришика кладёт Варину руку на стол ладонью вниз.

– Двадцать первого января 2044-го, – сообщает она сухо, будто объявляет прогноз погоды или результат бейсбольного матча. – Времени у тебя хоть отбавляй.

Варино сердце будто взлетает на миг. В 2044-м ей будет восемьдесят восемь, возраст весьма почтенный. Тут Варя задумывается.

– Откуда вы знаете?

– Что я тебе говорила о доверии? – Ришика хмурит кустистые брови. – А теперь ступай домой и подумай над моими словами. Послушаешься меня – и тебе полегчает. Только никому не говори, ладно? Ни про свою руку, ни про то, что я тебе сказала, – это между нами.

Они смотрят друг на друга, Варя и гадалка. Теперь, когда они поменялись ролями и Варя уже не ждёт оценки, а сама оценивает, происходит нечто любопытное. Глаза гадалки вдруг потускнели, перед Варей обычная полная женщина. Слишком уж счастливая судьба предсказана, наверняка обман. Видно, ришика всем говорит одно и то же, никакая она не пророчица, не ясновидящая – шарлатанка, мошенница, вот она кто. Как волшебник из страны Оз. Варя встаёт.

– Мой брат за всех заплатил, – говорит она, обуваясь.

Встаёт и гадалка. Подходит к боковой двери – Варя думала, та ведёт в чулан; с дверной ручки свисает бюстгальтер, сетчатые чашечки размером с Варин сачок для бабочек, – но нет, наружу. Хозяйка приоткрывает дверь, Варя видит полоску красного кирпича, соломинку пожарного выхода. Снизу долетают голоса младших, и Варино сердце взмывает воздушным шариком.

Но ришика, преградив Варе путь, щиплет её за руку.

– Всё у тебя будет хорошо, милая. – В голосе её звенит угроза, будто она силой добивается, чтобы Варя услышала, поверила. – Всё будет хорошо.

На руке у Вари остаётся белый след.

- Пустите меня, – просит она, и голос звучит неожиданно холодно.

Взгляд гадалки мгновенно заволакивается, будто занавесом. Посторонившись, она пропускает Варю.

Варя, стуча двухцветными туфлями, стремглав сбегает вниз по пожарной лестнице. Ветерок ласково обдувает руки, от золотистого пушка, недавно появившегося на ногах, щекотно. Спустившись в узкий проулок, Варя видит, что нос у Клары красный, на щеках дорожки от слёз.

- Что с тобой?

- Разве непонятно? – шмыгает Клара.

- Да, но ведь это непра... – Варя с надеждой смотрит на Дэниэла, но тот застыл с каменным лицом. – Неважно, что она тебе сказала, враньё это. Она всё выдумала. Верно, Дэниэл?

- Ага. – Дэниэл, развернувшись, шагает прочь. – Пошли.

Клара тянет за руку Саймона. Тот несёт матерчатую сумку, по-прежнему полную.

- Ты же должен был заплатить! – спохватывается Варя.

- Я забыл, – отвечает Саймон.

- Не заслужила она наших денег. – Дэниэл стоит на тротуаре, руки в боки. – Пошли!

Домой они возвращаются молча. Варя чувствует себя всем чужой, никогда раньше такого не было. За ужином она ковыряет говяжьё грудинку, а Саймон и вовсе к еде не притрагивается.

- Что случилось, сынок? – беспокоится Герти.

- Есть не хочется.

- Почему?

Саймон пожимает плечами. Его льняные кудри при электрическом свете кажутся белоснежными.

- Ешь без капризов, что приготовила мать, - велит Шауль.

Но Саймон ни в какую - сидит, подложив под себя ладони.

- Да что же такое, м-м? - кудахчет Герти, вскинув бровь. - Стряпня моя не нравится?

- Не трогайте его. - Клара треплет Саймона по макушке, но тот отшатывается, со скрипом отодвинув стул.

- Ненавижу вас! - Он вскакивает. - Ненавижу, всех ненавижу!

- Саймон. - Шауль тоже встаёт из-за стола. Он в костюме, недавно пришёл с работы. Волосы у него необычного оттенка - светлее, чем у Герти, с рыжинкой. - Нельзя так разговаривать с родными.

Роль строгого отца ему несвойственна. Дисциплину в семье поддерживает Герти, но на этот раз она молчит, разинув рот.

- А я разговариваю! - кричит Саймон. На лице у него застыло изумление.

Часть первая

Будешь танцевать, малыш

Когда умирает Шауль, Саймон сидит на уроке физики, рисует концентрические круги, призванные изображать электронную оболочку атома, и сам не понимает, что они означают. Саймону, с его дислексией и витанием в облаках, учёба никогда не давалась, и что такое электронная оболочка – зачем эти орбиты электронов вокруг ядра атома, – он не улавливает. В этот самый миг его отец хватается за сердце посреди пешеходного перехода на Брум-стрит. Сигналит и останавливается такси. Шауль падает на колени, от сердца отхлынула кровь. Смерть его представляется Саймону столь же бессмысленной, как переход электронов от атома к атому: раз – и нет.

Из колледжа Вассара приезжает Варя, из Бингемтонского университета – Дэниэл. Оба в полном недоумении. Да, Шаулю приходилось нелегко, но худшие времена для Нью-Йорка – финансовый кризис, перебои с электричеством – наконец позади. Профсоюзы спасли город от банкротства, и жизнь налаживается. В больнице Варя спрашивает о последних минутах отца. Страдал ли он? Совсем недолго, отвечает медсестра. Он что-нибудь говорил? Никто не слышал. Жену и детей, привычных к его молчанию, этим не удивишь, и всё же Саймона будто обокрали, лишили воспоминаний об отце, таком же безмолвном в последние мгновения, как и всю жизнь.

Следующий день приходится на шаббат, поэтому хоронят Шауля в воскресенье. Встречаются в синагоге Тиферет Исраэль, где Шауль был прихожанином и жертвователем. У входа рабби Хаим протягивает каждому из Голдов пару ножниц для криа[9 - Криа (доел, “разрывать”) – еврейский траурный обычай: во время похорон родные покойного надрезают свою одежду в области сердца.].

– Нет, не буду, – упирается Герти, которую приходится проводить через всю церемонию похорон за руку, как на таможне при въезде в чужую нелюбимую страну. Платье-футляр сшито для неё Шаулем в 1962-м: плотный чёрный хлопок, выточки на талии, ряд пуговиц впереди, съёмный пояс. – Не дождётесь, – добавляет она, а взгляд мечется от рабби Хаима к детям, покорно разрезавшим себе одежду над сердцем, и сколько ни толкуй рабби Хаим, что не он от неё этого ждёт, а Бог, кажется, её и сам Бог не заставит. Наконец рабби протягивает

ей чёрную ленту, и Герти, разрезав её, победно садится на место.

Саймону никогда здесь не нравилось. В детстве он думал, что под каменными сводами синагоги, тёмными и сырыми, обитают призраки. Службы, те были ещё хуже: бесконечное немое поклонение, горячие молитвы о возрождении Сиона. Сейчас он стоит у закрытого гроба, воздух холодит кожу сквозь разрез на рубашке, и Саймон понимает, что никогда больше не увидит лицо своего отца. Он представляет отцовские глаза, взгляд будто обращён внутрь, и улыбку, кроткую, почти женственную. Рабби Хаим называет Шауля “человеком большой души и твёрдой воли”, но Саймону отец всегда казался чопорным и боязливым; всю жизнь он избегал неприятностей и ссор – человек без страстей, уму непостижимо, почему он выбрал в жёны честолюбивую, вспыльчивую Герти: на ней можно было жениться только по большой любви, но уж никак не по расчёту.

После службы все идут за гробом на кладбище Маунт-Хеброн, где похоронены родители Шауля. Девочки обе плачут: Варя – тихо, Клара – в голос, как мать; Дэниэл держится – видимо, машинально, из одного чувства долга. А Саймон не может плакать, даже когда гроб опускают в яму. Всё, что он чувствует, – горечь утраты, скорбь не просто по отцу, а по тому настоящему Шаулю, которого уже не суждено узнать. За ужином они сидели на разных концах стола, каждый был погружён в раздумья. Когда кто-то из них поднимал голову и взгляды встречались, Саймона всякий раз словно ударяло током – вроде бы случайность, но их отдельные миры вновь объединял на миг общий стержень.

Сейчас общего стержня нет. Шауль, хоть дома и держался особняком, позволил им принять роли: он сам – добытчик, Герти – командир, Варя – примерная старшая дочь, Саймон – младший, беззаботный. Если отцовский организм, надёжный и внешне здоровый – холестерин ниже, чем у Герти, сердце как мотор, – попросту отказал, каких новых бед ждать? Что ещё может пойти прахом? Варя прячется от всех, забившись под одеяло. Двадцатилетний Дэниэл, еще совсем мальчик, встречает гостей, раскладывает еду, читает молитвы на иврите. Клара, чей угол в спальне самый захламлённый, драит кухню до блеска, так что руки болят. А Саймон присматривает за Герти.

До нынешнего дня всё было наоборот – Герти нянчилась с Саймоном больше, чем со старшими. В юности она мечтала о карьере учёного, любила лежать у фонтана в парке Вашингтон-сквер с томиком Кафки, Ницше или Пруста. Но в девятнадцать встретила Шауля, который, окончив школу, вошёл в дело отца, а в двадцать забеременела. Она ушла из Нью-Йоркского университета, где получала

стипендию, и перебралась в квартиру неподалёку от “Швейной мастерской Голда”, которая перейдёт к Шаулю, когда его родители отойдут от дел.

Вскоре после рождения Вари Герти устроилась в юридическую фирму администратором – до неприличия рано, по мнению Шауля. По вечерам она по-прежнему уверенно правила их семейной лодкой, а по утрам надевала платье, подкрашивалась румянами из круглой коробочки и, оставив детей у миссис Альмендингер, неслась со всех ног на работу. Зато когда родился Саймон, Герти вместо обычных пяти месяцев задержалась дома на девять, а там и на полтора года. Она везде носила его на руках, в ответ на его плач не выходила из себя, а тетёшкала, пела ему песенки – занятия, прежде для неё тягостные, теперь вызывали сладкую грусть. Ведь она знала, что это не повторится: вскоре после рождения Саймона, когда Шауль был на работе, Герти сходила к врачу, вернулась с пузырьком пилюль – “Эновид” было написано на этикетке – и спрятала его поглубже в ящик с бельём.

– Саймон! – завывает она как сирена. – Подай мне вот это! – И указывает на подушку, лежащую на кровати прямо возле её ног. Или зловещим шёпотом: – У меня пролежень – слишком долго с постели не вставала.

И Саймон, преодолевая отвращение, осматривает её заскорузлую пятку

– Это не пролежень, ма, – объясняет он, – это мозоль.

Но Герти уже не слушает, а требует текст кадиша, или кусочек рыбы, или шоколад с поминальной тарелки, принесённой рабби Хаимом.

Саймон мог бы подумать, что Герти нравится им командовать, если бы она не плакала по ночам – в подушку, чтобы дети не слышали, но Саймон всё равно слышал – и не лежала бы, сжавшись в комок, на постели, которую двадцать лет делила с Шаулем, и не выглядела бы беспомощной девочкой, словно в тот день, когда они встретились. Шива[10 - Шива – первые семь дней траура в еврейской традиции.] она соблюдает с неожиданным для Саймона рвением, ведь Герти всегда верила в приметы сильнее, чем в Бога: встретит похороны – трижды сплюнет; рассыплет соль – бросит щепотку через плечо, а когда была беременна, старалась не ходить мимо кладбища, и вся семья постоянно меняла маршруты с 1956-го по 1962-й. Шаббат она всегда встречала обречённо, как нежеланного гостя, однако всю траурную неделю не пользуется косметикой, не

носит украшений и кожаной обуви. Будто бы в знак покаяния за отказ от криа, день и ночь ходит в чёрном платье-футляре, не замечая пятна от подливки на юбке. Так как деревянных табуреток в доме нет, кадиш она читает, сидя на полу, даже Книгу Иова пытается читать, щурясь и поднося поближе к глазам Танах. Отложив книгу, она дико озирается, как потерявшийся ребёнок; затем следует крик: “Саймон!” – и какая-нибудь будничная просьба: принести фрукты, кекс, открыть или закрыть окно, подать одеяло, тряпку, свечу.

Когда в доме собирается достаточно людей для миньяна[11 - Миньян – в иудаизме кворум из десяти взрослых мужчин (старше 13 лет), необходимый для общественного богослужения и для ряда религиозных церемоний. Миньян нужен для того, чтобы произнесённая молитва считалась молитвой всей общины, а не индивидуальной.], Саймон помогает ей застегнуть новое платье, подаёт домашние туфли, и Герти выходит на молитву. С ними те, кто много лет прослужил у Шауля, – счетоводы, швеи, закройщики, продавцы и младший компаньон Шауля Артур Милавец, тридцатидвухлетний, тощий, с орлиным носом.

В детстве Саймону нравилось у отца в мастерской. Счетоводы давали ему для игры скрепки и лоскутки, и Саймон гордился, что он сын Шауля – по его светлому кабинету и всеобщему почтению ясно было, что Шауль здесь главный. Качая Саймона на коленях, отец показывал ему, как кроить и шить. Когда Саймон подрос, Шауль стал брать его с собой на ткацкие фабрики за твидом и шелками, что будут в моде в новом сезоне, и в магазин “Сакс Пятая авеню”, где он покупал последние модели, чтобы взять их за образцы. После работы, когда мужчины собирались у Шауля в кабинете поиграть в черву или покурить сигары и обсудить забастовку учителей или ассенизаторов, Суэцкий канал или войну Судного дня, Саймону разрешалось посидеть рядом.

Тем временем мало-помалу проступило из мрака и предстало наконец перед Саймоном во всей неотвратимости его будущее. Дэниэл с детства мечтал стать врачом, а младшему, Саймону, всегда было неуютно даже в собственном теле, не говоря уж о двубортном костюме. Когда он стал подростком, женские тряпки ему прискучили, а от прикосновения к шерсти стали чесаться руки. Ему было не по себе от напряжённого внимания Шауля – он чувствовал, что не за горами день, когда отец удалится от дел, пусть в это пока и не верилось. Он огрызался на Артура, который всегда был на стороне отца, а его, Саймона, гонял туда-сюда, как собачонку. А главное, с сожалением понял, что мастерская для Шауля настоящий дом, а работники знают его лучше, чем родные дети.

Сегодня Артур явился с закусками и подносом копчёной рыбы. Вытянув длинную, как у гуся, шею, он целует Герти в щёку.

- Что же нам делать, Артур? - причитает Герти, уткнувшись ему в пиджак.

- Ужас, - откликается Артур. - Кошмар.

На его плечах и стёклах роговых очков поблёскивают дождевики, но взгляд цепкий.

- Слава богу, что есть вы. И Саймон, - говорит Герти.

В последнюю ночь шива, когда Герти уже спит, они вчетвером забираются на чердак. Все изнурены и подавлены, воспалённые глаза обведены тёмными кругами, животы свело. Острота горя не притупилась; Саймон и не верит, что горе может когда-нибудь отступить. Дэниэл и Варя устроились на рыжем бархатном диване с продранными подлокотниками, Клара, сев на пёструю оттоманку, доставшуюся от покойной миссис Блюменштейн, наливает бурбон в четыре щербатые чашки.

- Итак, ваши планы? - Саймон, сидя на полу по-турецки и помешивая пальцем янтарную жидкость, бросает взгляд на Дэниэла и Варю. - Завтра отчаливаете?

Дэниэл кивает. И он, и Варя едут утренним поездом каждый в свой университет. С Герти они уже попрощались, дав слово вернуться через месяц, сразу после экзаменов.

- Дальше тянуть некуда, провалюсь, - поясняет Дэниэл. - Кое-кого из нас, - он подталкивает ногой Клару, - волнуют такие пустяки.

Клара через две недели заканчивает школу, но уже объявила родным, что на выпускной не идёт. ("Вышагивать друг за дружкой в ногу, как пингины? Очень надо!") Варя изучает биологию, Дэниэл надеется стать военным врачом, а Клара учиться дальше не собирается. Она мечтает творить волшебство.

Клара провела уже девять лет в ученицах у Ильи Главачека, старого эстрадного актёра и иллюзиониста, и подрабатывает у него в магазине “Илья и К°: Всё для магии”. В магазин она впервые попала, когда ей было девять – в тот раз она купила у Ильи “Книгу гаданий”, а теперь Илья ей как второй отец. Чешский иммигрант, очевидец двух мировых войн, Илья – семидесятидевятилетний старик, похожий на тролля, скрюченный артритом, с белоснежным пушком на лысине – рассказывает невероятные истории о своей сценической жизни – о том, как разъезжал по мрачнейшим из паноптикумов Среднего Запада и его карточный стол стоял в шаге от заспиртованных человеческих голов; как в пенсильванском шапито он показывал трюк с исчезновением бурого сицилийского ослика по кличке Антонио, под шквал аплодисментов тысячи зрителей.

Да только больше века минуло с тех пор, как братья Дэвенпорт вызывали духов в салонах богачей, а Джон Невил Маскелайн заставил летать женщину в Египетском театре Лондона. Теперь самые удачливые фокусники Америки довольствуются театральными спецэффектами или устраивают замысловатые шоу в Лас-Вегасе. И женщин среди них можно по пальцам перечесть. Когда Клара зашла в старейший в стране магазин для фокусников “У Маринки”, парень за прилавком презрительно оглядел её и указал на книжную полку “Чёрная магия”. (“Урод”, – буркнула Клара, но “Кровавые обряды в демонологии” всё-таки купила, лишь затем, чтобы его позлить.)

Вдобавок Клару сильнее влечёт не на большую арену – не к ярким огням, вечерним костюмам и левитации с проволочной страховкой, – а к тем из фокусников, кто поскромнее, туда, где секреты мастерства передаются из рук в руки, как смятые долларовые бумажки. По воскресеньям она ходит в Центральный парк посмотреть, как выступает на своём обычном месте, у памятника Вальтеру Скотту, уличный фокусник Джефф Шеридан. Но сумеет ли она фокусами заработать на жизнь? Нью-Йорк уже не тот. У них в квартале на смену хиппи пришли хардкор-панки, на смену траве – тяжёлые наркотики. На Двенадцатой улице и Авеню А хозяйничают пуэрто-риканские банды. Однажды Клару ограбила на улице шайка молодчиков – могло быть и хуже, но мимо, на её счастье, как раз проходил Дэниэл.

Варя стряхивает в пустую чашку пепел.

– Ты всё-таки не передумала уезжать? Бросишь маму вот так?

– Я всегда хотела уехать, Варя. Давно собираюсь.

– Что ж, планы иногда меняются. Порой так нужно.

Клара вскидывает бровь:

– И что ж ты свои не поменяешь?

– Не могу, у меня экзамены.

Руки у Вари сжаты, спина прямая. Варя всегда была жёсткой, неуступчивой, шла по жизни как канатоходец, следя за каждым шагом. Когда ей исполнилось четырнадцать, она не смогла одним махом задуть все свечи на именинном торте, и восьмилетний Саймон, встав на цыпочки, задул оставшиеся три. Варя плакала так, что даже Шауль с Герти и те испугались. Она далеко не красавица, не то что Клара, равнодушна к нарядам и косметике. Единственная её гордость – волосы до пояса. Природный их цвет – буроватый, как пыльная дорога летом – ничем не примечателен, но Варя не желает его менять. Клара же красит волосы в кричащий химически-рыжий. Когда она приводит в порядок корни, вся раковина в кровавых подтёках.

– Экзамены! – отмахивается Клара, будто речь о ерунде, которую Варя давно пора перерасти.

– И куда же ты собралась? – интересуется Дэниэл.

– Пока не решила. – Голос у Клары спокойный, но лицо напряжённое.

– Боже! – Варя чуть не падает. – У тебя даже планов никаких нет?

– Я жду, – поясняет Клара. – Жду, когда мне откроется план.

Саймон смотрит на сестру. Он знает, как её пугает будущее. И знает, что она искусно прячет свой страх.

– Допустим, откроется тебе план, – говорит Дэниэл, – будешь знать, куда ехать. Как ты туда доберёшься? Денег на машину у тебя нет. На авиабилет и то не

наскребёшь.

– Сейчас новая мода, автостоп, Дэнни. – Во всей семье одна Клара до сих пор называет брата Дэнни, как в детстве, с намёком на мокрую постель, кривые зубы и, хуже того, на семейную поездку в Лавалетт, штат Нью-Джерси, когда он наложил в вельветовые штаны, испортив первый день отдыха и заднее сиденье взятого напрокат “шевроле”. – Все крутые ребята так ездят.

– Клара, умоляю тебя! – восклицает Варя, тряхнув головой. – Обещай, что не поедешь автостопом. Через всю страну! Тебя же убьют!

– Ну уж точно не убьют. – Затянувшись, Клара выпускает дым в сторону, подальше от Вари. – Но ради твоего спокойствия, так уж и быть, поеду автобусом.

– Автобусом ехать несколько дней, – замечает Дэниэл.

– Зато дешевле, чем поездом. И вот что ещё. По-вашему, я и вправду маме здесь нужна? Без меня ей, думаю, проще. – За известием, что Клара не собирается в колледж, последовали затяжные баталии между нею и Герти, а за ними – обиженное молчание. – Я же не одну её бросаю. Сай-то остаётся.

Клара тянется к Саймону, ласково сжимает его колено.

– Ты ведь не расстраиваешься, Саймон? – спрашивает Дэниэл.

Не то слово. Можно представить, каково ему будет, когда все разъедутся: он и Герти вдвоём, как в ловушке, – бесконечный траур – “Саймон!” – незримое вездесущее присутствие отца. Ночные пробежки – куда угодно, лишь бы подальше от дома. И дело – разумеется, дело! – теперь оно принадлежит ему по праву. Хуже того, он лишится Клары, своей союзницы. Но, чтобы её не огорчать, он пожимает плечами:

– Не-а. Клара пусть делает что хочет. Жизнь-то у нас одна, верно?

– Насколько мы знаем. – Клара тушит сигарету. – А вы об этом никогда не задумываетесь?

Дэниэл поднимает брови:

- О жизни после смерти?

- Нет, - поправляет Клара, - о том, кто сколько проживёт.

Заговор молчания нарушен.

- Только не надо про ту старую ведьму! - морщится Дэниэл.

Клара вздрагивает, будто это её оскорбили. За все эти годы они ни разу не говорили о гадалке с Эстер-стрит. Однако сейчас Клара пьяна, Саймон чувствует это по блеску её глаз, по тому, как она слегка шепелявит.

- Эх вы, трусы, - заявляет она. - Ни у кого духу не хватает признаться.

- В чём признаться? - спрашивает Дэниэл.

- Что она вам сказала. - Клара тычет в него ногтем с облупленным красным лаком. - Валяй, Дэниэл! Что, слабо?

- Нет.

- Трус! - кричит Клара и, прикрыв глаза, криво ухмыляется.

- Даже если б хотел, не сказал бы, - отвечает Дэниэл. - Лет десять прошло, а то и больше. Вы всерьёз думаете, что я запомнил?

- А я помню, - признаётся Варя. - Двадцать первого января 2044-го. Вот так.

В два счёта осушив чашку, Варя ставит её на пол. Клара изумлённо смотрит на сестру. И, схватив бутылку бурбона за горлышко, протягивает сначала Варе, потом себе.

- Что-о? - переспрашивает Саймон. - Восемьдесят восемь?

Варя кивает.

- Поздравляю. - Клара щурится. - Мне она сказала, что я умру в тридцать один.

- Что за бред! - хмыкает Дэниэл.

Клара поднимает чашку:

- Надежда умирает последней!

- Ага. - Дэниэл пьёт до дна. - Двадцать четвёртого ноября 2006-го. Ты меня переплюнула, Ви.

- Сорок восемь, - подытоживает Клара. - Боишься?

- Ни капельки. Старая карга ляпнула первое, что в голову взбрело. Так я и поверил. Я же не дурак! - Он со стуком ставит чашку на дощатый пол. - А ты, Сай?

Саймон курит седьмую сигарету. Затягивается, выпускает дым, глядя в стену.

- Молодым.

- Молодым - это сколько? - допытывается Клара.

- Не ваше дело.

- Да хватит тебе! - успокаивает его Варя. - Вот глупости! У неё есть над нами власть, только если мы сами позволим, - а она мошенница, это же очевидно. Восемьдесят восемь? Я вас умоляю. С таким пророчеством можно и в сорок под грузовик угодить.

- Почему же остальным она ничего хорошего не предсказала? - недоумевает Саймон.

– Не знаю. Для разнообразия? Нельзя же всем одно и то же говорить. – Щёки у Вари полыхают. – Зря мы тогда к ней пошли. Вбила нам в голову всякие глупости, да и только.

– А всё Дэниэл, – встречается Клара. – Это он нас подбил.

– Без тебя знаю! – шипит Дэниэл. – А ты и рада, первая побежала!

В душе у Саймона закипает ярость. В этот миг он их всех ненавидит: и Варю, расчётливую, себе на уме, старше его на целую жизнь; и Дэниэла – тот много лет назад застолбил медицину, а ему, Саймону, осталось дело Голдов; и Клару – за то, что бросает его. Всех ненавидит. У каждого из них есть выход, а он в тупике.

– Ребята! – кричит он. – Хватит! Тихо все, ладно? Папа умер. Можете заткнуться нахер? – Властные нотки в собственном голосе удивляют его.

Даже Дэниэл и тот теряет. Но тут же откликается:

– “Саймон говорит...”[12 - Здесь имеется в виду игра, где ведущий отдаёт остальным игрокам приказы, начинающиеся со слов “Саймон говорит...”.]

Варя и Дэниэл идут в спальню, а Клара с Саймоном – на крышу, тащат туда подушки и одеяла и засыпают на бетоне, при свете затянутой дымкой луны. Их будят ещё затемно. Наверное, Герти – но нет, над ними склоняется худое, измученное Варино лицо.

– Мы уезжаем, – шепчет Варя. – Такси внизу.

Из-за её плеча выглядывает Дэниэл, смотрит холодно из-под очков. Под глазами круги, отливают синевой, как рыба чешуя, в углах рта залегли морщинки-скобки – или всегда были?

Клара подносит руку к глазам:

– Уже?!

Варя отводит ладонь от Кларинового лица, приглаживает ей волосы:

- Давай попрощаемся. - Голос у неё ласковый.

Клара приподнимается, её руки обвивают Варину шею плотным кольцом.

- Пока, - шепчет она.

Варя и Дэниэл уходят, и вскоре небо вспыхивает багрянцем, потом - янтарём. Саймон зарывается лицом в Кларины волосы - пахнут дымом.

- Не уезжай, - просит он.

- Надо, Сай.

- Что тебя там ждёт хорошего?

- Кто знает... - Кларины глаза слезятся от усталости, из зрачков будто струится свет. - В этом-то всё и дело.

Они встают, сворачивают одеяла.

- Поехали со мной, - добавляет Клара, пристально глядя на Саймона.

Саймон смеётся:

- Да уж, поехали! Бросить школу, недоучившись два года? Мама меня убьёт!

- Удерёшь подальше - не достанет.

- Нет, нельзя мне.

Клара подходит к краю крыши, облакачивается на парапет. На ней синий пушистый свитер и обрезанные джинсы. Она смотрит куда-то в сторону, но Саймон чувствует, что сестра напряжена. Можно подумать, лишь прикинувшись безразличной, Клара может сказать:

– Махнём в Сан-Франциско.

У Саймона перехватывает дыхание.

– Не надо об этом.

Нагнувшись, он берёт под мышки обе подушки. Ростом он метр семьдесят два, как Шауль, стройный, ноги быстрые, крепкие. Пухлые красные губы и русые кудри, наследие далёкого предка-арийца; девчонки в классе вздыхают, но совсем не о той публике мечтает Саймон.

Вагины его никогда не привлекали: бездонные дыры, складки, как у капусты. Он жаждет схватки с равным, жаждет ощутить кипучий натиск члена, нани-заться во всю длину. Знает об этом только Клара. Когда родители ложились спать, Саймон с Кларой вылезали в окно и спускались по пожарной лестнице на улицу; у Клары в сумочке из искусственной кожи лежал газовый баллончик. Они шли в “Ле Жардин”, где дискотеки вёл Бобби Гуттадаро, или ехали на метро на Двенадцатую Западную, где бывший цветочный магазин превратили в танцзал. Там Саймон и познакомился с танцором гоу-гоу, который рассказал ему про Сан-Франциско. Они сидели в саду на крыше, и танцор говорил, что там в городском совете есть гей и есть газета для геев, что геи могут занимать любые должности и сколько угодно заниматься сексом, ведь в Сан-Франциско нет законов против содомии. “Ты себе и представить не можешь”, – сказал танцор, и с тех пор Саймон только и делал, что представлял.

– А почему нет? – Клара оборачивается. – Мама, конечно, разозлится. Но я представляю, что за жизнь тебя здесь ждёт, Сай, – не пожелала бы тебе такого. Да ты и сам не желаешь. Мама мечтает, чтобы я училась дальше, но хватит с неё Дэнни и Ви. Она должна понять, что я не она. А ты не папа. Господи, ну какой из тебя портной? Тоже мне портной! – Она многозначительно умолкает, чтобы слово отложилось у него в сознании. – Неправильно это. И несправедливо. Так что назови мне хоть одну причину. Хоть одну вескую причину, почему тебе нельзя жить по-своему.

Едва он даёт волю своим мыслям, мечта завладевает им целиком. Манхэттен – настоящий оазис, тут есть и гей-клубы, и даже бани, – но Саймону боязно утверждать себя в новой роли здесь, где он вырос. На его глазах въезжают в район художники и музыканты, ненавистные отцу “Фейгеле”[13 - Фейгеле

(идиш) – птичка, но на сленге так называют гомосексуалов.], – буркнул как-то Шауль, мрачно наблюдая, как трое худощавых парней заносят инструменты – целый оркестр – в бывшую квартиру Сингхов. Подхватила это идишское словцо и Герти, и пусть Саймон делает вид, что не слышит, он всякий раз напрягается, будто речь о нём.

В Нью-Йорке он жил бы для родителей, а в Сан-Франциско заживёт для себя. И вдруг – пусть он гонит от себя эту мысль, всячески её избегает, – вдруг гадалка с Эстер-стрит была права? Стоит об этом подумать, и мир вокруг вспыхивает иными красками, и хочется побольше успеть, и каждый миг кажется бесценным.

– Господи, Клара! – Он подходит к парапету, становится с ней рядом. – А тебе-то туда зачем?

Клара, сощурившись, глядит на кровавый восход.

– Тебе больше некуда. А мне всё равно куда.

Лицо её ещё не утратило детскую округлость, зубы неровные, и улыбка слегка хищная, но при этом обаятельная. Сестрёлка.

– Смогу ли я кого-то ещё полюбить, как тебя? – спрашивает Саймон.

– Да ладно тебе! – Клара смеётся. – Полюбишь, никуда не денешься, и намного сильнее, чем меня!

Они на седьмом этаже, а внизу по Клинтон-стрит бежит парень в тонкой белой футболке и синих нейлоновых трусах. Саймон смотрит, как ходит у него под футболкой грудь, как работают мускулистые ноги. Смотрит и Клара.

– Давай сбежим, – говорит она.

2

В вихре света и красок приходит май. В парке Рузвельта пробиваются из травы крокусы. В последний школьный день Клара врывается домой с пустой рамкой

для аттестата, сам аттестат вышлют чуть позже, но Клара будет уже далеко. Герти знает о её отъезде, и Кларин чемодан стоит в прихожей. Но она не знает, что Саймон – его чемодан спрятан под кроватью – едет с Кларой.

С собой он почти ничего не берёт, лишь самое нужное или самое драгоценное. Две полосатые велюровые футболки поло, красную матерчатую сумку на завязках, коричневые вельветовые брюки клёш – в них он был, когда ему подмигнул в поезде незнакомый пуэрториканец, это пока что самый романтический эпизод в его жизни. Золотые часы с кожаным ремешком, подарок Шауля, и синие замшевые кроссовки “Нью Баланс 320”, самые удобные на свете.

Кларин чемодан повесистей, в нём лежит подарок, который она получила от Ильи Главачека в последний день работы. В ночь накануне отъезда Клара рассказывает Саймону историю подарка.

– Принеси мне вон тот ящик, – велел Илья.

Ящик, чёрный, деревянный, сопровождал его всюду, от интермедий до цирков, пока в 1931-м Илья не заболел полиомиелитом (“Как раз вовремя, – шутил он, – к тому времени кино убило водевиль”). Илья всегда называл его просто “тот ящик”, но Клара знала, что им он дорожил больше всего на свете. Клара послушно вынесла ящик и водрузила на прилавок, чтобы Илье не вставать с кресла.

– Возьми его себе, – сказал старик. – Ладно? Он твой. Пользуйся, радуйся. Он должен быть всегда в пути, милая моя, а не пылиться в чулане у старого калеки. Умеешь раскладывать? Иди, покажу. – Он встал, опираясь на трость, и на глазах у Клары превратил ящик в стол, как делал при ней множество раз. – Вот сюда кладёшь карты, сама стоишь вот здесь.

Клара попробовала.

– Вот так! – Старик улыбнулся лепреконьей улыбкой. – Тебе идёт!

– Илья... – Почувствовав, что плачет, Клара смутилась. – Не знаю, как вас благодарить.

– Просто пользуйся – и всё. – Илья махнул рукой и, стуча тростью, заковылял в чулан – сделал вид, будто переставляет товары на полках, а на самом деле ушёл погрузить в одиночку, догадалась Клара. Ящик она принесла домой и сложила в него все свои инструменты: три шёлковых платка; набор увесистых серебряных колец; кошелёк, набитый монетами в четверть доллара; красные шарики величиной с клубничину; три медные чаши и колоду карт, мягких от старости, как лоскутки.

Саймон знает, что Клара талантлива, но её одержимость чудесами его тревожит. То, что в детстве было мило, для взрослой девушки по меньшей мере странно. Саймон надеется, что страсть её угаснет, когда они приедут в Сан-Франциско, где жизнь куда интересней, чем её чёрный ящик.

В ту ночь он долго не может уснуть. Теперь, когда Шауля нет, запрет снят: отец так и не узнал правды о Саймоне, а дело мог бы возглавить Артур. Но как же мама? Саймон обдумывает доводы в свою защиту. Так уж устроен мир, твердит он себе, дети вырастают и покидают родителей, и, если на то пошло, у людей этот процесс растянут до неприличия. Лягушка-отец носит головастиков во рту, но те выпрыгивают, едва отвалится хвост. (Точнее, так думает Саймон – на уроках биологии он вечно витает где-то.) Тихоокеанские лососи рождаются в пресной воде и уходят в океан, а как настает пора метать икру и умереть – возвращаются за сотни миль обратно, в родные реки. Так и он сможет вернуться когда угодно.

Наконец его одолевает сон, и он видит себя лососем, прозрачной коралловой икринкой плывёт сквозь молоки в материнское гнездо на дне ручья. Вылупившись из икринки, хоронится в тёмных заводях, ест что придётся. Чешуя его темнеет; он проплывает тысячи миль. Вначале его окружают сотни других рыб, трутся скользкими боками, но постепенно стая редет. Когда приходит пора возвращаться домой, он понимает, что забыл дорогу назад, в ручей, где появился на свет. Слишком далеко он уплыл, назад пути нет.

Просыпаются они чуть свет. Клара будит Герти, прощается, обнимает её. Спускается на цыпочках по лестнице с двумя чемоданами, пока Саймон завязывает шнурки. Он выходит в коридор и, переступив через скрипучую половицу, осторожно шагает к двери.

- Ты куда собрался?

Саймон оборачивается, сердце стучит как бешеное. В дверях спальни стоит мать, кутаясь в просторный розовый халат, который носит с Вариного рождения; обычно она спит в бигуди, но сегодня волосы у неё распущены.

- Я просто... - Саймон переминается с ноги на ногу. - За бутербродом.

- Шесть утра - какой бутерброд?

Щёки у Герти пылают, глаза от страха округлились и блестят, как две чёрные жемчужины.

Из глаз Саймона вот-вот брызнут слёзы. Герти стоит, как боксёр перед схваткой, широко расставив розовые ноги, толстые, как свиные отбивные. Когда Саймон был маленьким, они с Герти, проводив старших в школу, играли в игру, которую называли "Танцующий шарик". Герти включала радио "Мотаун" - при Шауле она эту волну никогда не слушала - и надувала красный воздушный шарик, не очень туго. Танцуя, они гоняли шарик по квартире, из ванной в кухню, стараясь, чтобы он не коснулся пола. Саймон был шустрый, Герти грузная; вместе они удерживали шарик на весу до конца радиопередачи. Вспомнив вдруг, как Герти ломилась через столовую и на ходу опрокинула подсвечник (с рёвом: "Ничего не разбилось!"), Саймон сдерживает неуместный смешок - если дать ему волю, он неминуемо перейдёт в рыдания.

- Мама, - говорит он, - я хочу сам решать, что мне делать.

Саймон злится на себя за умоляющий тон. Его вдруг неудержимо тянет обнять мать, но Герти смотрит в окно, на Клинтон-стрит. Когда она поворачивается к Саймону, в глазах у неё обречённость; никогда прежде Саймон не видел у неё такого взгляда.

- Ладно, топай за своим бутербродом. - Герти вздыхает. - Только зайди после школы в мастерскую.

Артур тебе расскажет, что и как. Ты должен туда заходить каждый день - теперь, когда отец...

Тут Герти умолкает.

– Ладно, мам, – отвечает Саймон, в горле пересохло.

Герти благодарно кивает, и Саймон, пока не передумал, летит вниз по лестнице.

Путешествие на автобусе представлялось Саймону сказкой, но до первой пересадки он почти всё время спит. Не в силах больше думать о своём последнем разговоре с матерью, он засыпает, положив голову Кларе на плечо, а Клара вертит в руках то колоду карт, то пару миниатюрных стальных колец, и он то и дело просыпается под тихое звяканье или шуршание. На другое утро в шесть десять они выходят где-то в Миссури и ждут автобуса до Аризоны, а в Аризоне садятся на автобус до Лос-Анджелеса. Оттуда до Сан-Франциско ещё девять часов пути. Когда они наконец на месте, Саймон чувствует себя мерзейшим существом на всём белом свете. Лняные волосы слиплись и потемнели от пыли, одежду он не менял три дня. Но над головой бездонное синее небо, прохожие на Фолсом-стрит с ног до головы одеты в кожу, и у Саймона ёкает сердце. Он смеётся, коротко и радостно. Так тьякает, бухаясь в воду, щенок.

На три дня их приютил Тедди Винкельман – когда-то они вместе учились в школе, а теперь он обосновался здесь. Он свёл дружбу с сикхами, называет себя Бакшиш Хальса. У него двое соседей по квартире: Сюзи продаёт цветы у стадиона Кэндлстик-парк, а Радж – смуглый, чёрные волосы до плеч – все выходные валяется на диване в гостиной с книжкой Маркеса. Квартира совсем не такая, как представлял Саймон: вместо затянутого паутиной викторианского дома – узкий коридор с рядом сырых комнат, почти как у них на Клинтон-стрит, семьдесят два. Обстановка, однако, отличается: к стене пришпилен окрашенный вручную кусок ткани, наизнанку, как звериная шкура, а дверные проёмы украшены гирляндами фонариков-перчиков. На полу пластинки и пивные бутылки, и так густо пахнет ароматическими палочками, что Саймон, входя в дом, всякий раз кашляет.

В субботу Клара обводит красной ручкой объявление в газете о сдаче квартиры: “2 спальни/1 ванная. \$ 389/мес., светлая, просторная, паркет. Памятник архитектуры! ШУМНЫЕ СОСЕДИ”. Они едут на трамвае “джей” в сторону Семнадцатой улицы и Маркет-стрит – и вот он, Кастро, маленький рай, которым

Саймон бредил столько лет. Саймон смотрит на кинотеатр “Кастро”, на коричневый козырёк над баром “Тоуд-Холл”; на пожарных лестницах и на каждом крыльце кучкуются парни с сигаретами, в узких джинсах и во фланелевых рубашках, а то и вовсе без рубашек. Так давно об этом мечтать и наконец обрести, когда тебе ещё так мало лет, – всё равно что заглянуть в будущее. “Это здесь и сейчас, – твердит он себе в пьяном восторге. – Вот твоя жизнь”. Они с Кларой едут в Коллингвуд, тихий квартал с рядами пышных деревьев и разноцветных домиков в эдвардианском стиле. Останавливаются перед большим прямоугольным зданием. На первом этаже клуб, в этот час он закрыт, но в окна видны лиловые диваны, зеркальные шары, высокие платформы-пьедесталы. Название клуба выведено краской на стекле: “ПУРПУР”.

Квартира прямо над клубом. Просторной её не назовёшь, и о двух спальнях речи нет, поскольку одной спальней служит гостиная, другой – чулан. Зато она светлая, с золотистым паркетом и окнами-фонарями, и за первый месяц им есть чем заплатить. Клара вытягивает руки, оранжевая блузка с рюшами задирается, обнажив розовую полоску кожи. Клара кружится – раз, другой, как фарфоровая чашка, как дервиш, его сестрёнка, посреди гостиной в их новой квартире.

Они покупают разномастную посуду в магазинчике на Чёрч-стрит, а мебель – на распродаже на Даймонд-стрит. На Дуглас-стрит Клара присматривает два односпальных матраса – новых, ещё в пластиковой упаковке, – и они, пыхтя, втаскивают их к себе наверх.

Отпраздновать новоселье решают в клубе. Перед выходом Бакшиш Хальса приносит траву и таблетки. Радж бренчит на гавайской гитаре, Сюзи устроилась у него на коленях; Клара, примостившись у стены, играет с волшебной рыбкой, что привезла от Ильи. Бакшиш Хальса что-то шепчет в ухо Саймону про Анвара Садата, но у Саймона всё плывёт перед глазами и тянет поцеловать Бакшиша Хальсу. Нет ни секунды на раздумья: они в клубе, танцуют в гуще народа, вспыхивают на лицах красные и синие огни. Бакшиш Хальса сдёргивает тюрбан, пряди волос хлещут его по лицу, как плети. Какой-то человек, рослый, плечистый, весь в красивых зелёных блёстках, носится как метеор, оставляя за собой огненный след. Саймон продирается сквозь толпу, тянется к нему, и их губы встречаются с неожиданной страстью. Первый поцелуй в его жизни.

И вот они мчат сквозь ночь в такси, стиснутые на заднем сиденье. Его спутник расплачивается. Луна будто качается на гвозде, как плохо прибитый к двери

номерок, тротуар стелется под ногами ковровой дорожкой. Они заходят в серебристую многоэтажку, поднимаются на лифте куда-то на верхотуру.

– Где мы? – спрашивает Саймон, заходя следом за хозяином в дверь в конце длинного коридора.

Хозяин идёт на кухню, но свет не включает, лишь уличные фонари горят за окном. Когда глаза привыкают к полумраку, Саймон видит опрятную, обставленную по моде гостиную: белый кожаный диван, стеклянный столик с хромированными ножками. На стене напротив картина – яркие, светящиеся мазки.

– Финансовый район. Ты приезжий?

Саймон, кивнув, подходит к окну, смотрит на деловые здания с подсветкой. Улицы внизу почти пусты, пара бродяг да пара такси не в счёт.

– Что-нибудь принести? – кричит из кухни хозяин, держась за ручку холодильника. Кайф от таблеток почти улетучился, но даже на трезвую голову новый знакомый кажется привлекательным: стройный, мускулистый, с правильными чертами – модель с обложки.

– Как тебя зовут? – спрашивает Саймон.

Хозяин достаёт бутылку белого:

– Будешь?

– Ага. – Помолчав, Саймон добавляет: – Не хочешь говорить, как тебя зовут?

Новый знакомый подсаживается к нему на диван с двумя бокалами.

– В подобных случаях обычно не говорю. Но можешь звать меня просто Ян.

– Ладно. – Саймон через силу улыбается, хотя ему слегка тошно – и от сравнения с другими (сколько их было, “подобных случаев?”), и от скрытности Яна. Разве не затем съезжаются в Сан-Франциско геи, чтобы жить открыто? Но, возможно,

придётся запастись терпением. Саймон представляет их будущие встречи: как они с Яном лежат на пледе в парке “Золотые ворота”, как жуют бутерброды на пляже Оушен-Бич, а над ними кружат чайки, серые крылья вспыхивают на солнце, отливая рыжиной.

Ян улыбается. Он старше Саймона лет на десять, а то и на пятнадцать.

– У меня охренеть как стоит, – говорит он.

Саймон вздрагивает, внутри нарастает желание. Ян уже стягивает брюки, затем бельё, и вот он: пунцовый, с гордо поднятой головкой – член, достойный короля. Саймону тоже становится тесно в джинсах, он встаёт, чтобы их стащить, застрекает ногой в штанине, срывает. Ян опускается на колени, к нему лицом. В узком закутке между диваном и стеклянным столиком он тянет Саймона к себе за ягодички, и мгновенно – ничего себе! – член уже у Яна во рту.

Саймон стонет, тело его дергается вперед. Ян одной рукой упирается ему в грудь и сосет, а Саймон задыхается от изумления и долгожданного, запредельного удовольствия. В жизни это ещё приятней, чем он представлял, – мучительное, бездумное блаженство, этот рот на нем, словно густо печет солнце. Когда он уже на краю оргазма, Ян, отстранившись, хитро ухмыляется.

– Хочешь забрызгать сплошь весь этот прекрасный чистый пол? Хочешь обкончать этот прекрасный паркет весь сплошняком?

Саймон недоумённо вздыхает – совсем не того он хочет.

– А ты?

– А я хочу, – говорит Ян. – Да, хочу – И подползает на коленях, и член – багровый, почти пурпурный – нацелен на Саймона, будто скипетр. Вдоль ствола извилисто змеится набухшая вена.

– Слушай, – просит Саймон, – давай передохнём, а? Совсем недолго, секундочку?

– Ага, давай. Что нам стоит? – Ян разворачивает Саймона лицом к окну и, зажав в руке его член, дробит. Саймон стонет, и вдруг тупая боль в коленях напоминает

ему, где он находится, возвращает его к Яну, а тот настойчиво пытается раздвинуть ему членом ягодицы.

– Можно... – Саймон тяжело вздыхает, он почти дошёл до грани, и слова даются нелегко. – Можно, мы, ну?

Ян садится на корточки.

– Чего, смазки?

– Смазки. – Саймон сглатывает. – Ага.

На самом деле не смазка ему нужна, а способ потянуть время. Когда Ян выскакивает в коридор, Саймон переводит дух. “Запомни это, – говорит он себе, – за секунду до...” Он слышит шлёпанье босых ног, затем Ян плюхается рядом и ставит подле себя ярко-оранжевую бутылочку. С чавканьем выдавив смазку, натирает руки.

– Всё хорошо? – спрашивает Ян.

Саймон, собравшись с духом, упирается ладонями в пол.

– Всё хорошо.

Солнце светит сквозь шторы. Плеск воды в душе, запах чужих простынь, чужого тела. Саймон лежит голый на широкой двуспальной кровати, под толстым белым одеялом. Он приподнимается – ноги гудят, подташнивает, – прищурившись, оглядывает комнату. Закрытая боковая дверь – наверное, в ванную; фотографии в тонких чёрных рамках – городские пейзажи; стенной шкаф с рядами пиджаков и рубашек, подобранных по цвету.

Саймон выбирается из постели, ищет глазами на полу одежду – должно быть, оставил в гостиной. Ночь он помнит смутно, и она кажется ему самым ярким в его жизни цветным сном, а не явью. Джинсы и тенниска лежат скомканные под кофейным столиком, его любимые кроссовки брошены под дверь. Наспех одевшись, он смотрит в окно – внизу спешат куда-то люди с портфелями и стаканчиками кофе. Где-то в другом мире утро понедельника.

Плеск воды в душе стихает. Саймон возвращается в спальню, а из ванной выходит Ян, с полотенцем вокруг бёдер.

– Привет! – Улыбнувшись Саймону, он снимает полотенце, энергично вытирает голову. – Хочешь чего-нибудь? Кофе?

– Хмм, – медлит Саймон. – Да нет, не надо. – Он смотрит, как Ян роется в стенном шкафу, достаёт чёрные трусы, тонкие чёрные носки. – Где ты работаешь?

– “Мартел и Макрэй”. – Ян застёгивает дорогую на вид белую рубашку и тянется за галстуком.

– Это что?

– Финансовое консультирование. – Ян хмурится, глядя в зеркало. – Да ты, я вижу, и вправду не знаешь ничего?

– Я же говорил, я приезжий.

– Да успокойся. – У Яна чересчур ослепительная улыбка адвоката.

– А на работе, – спрашивает Саймон, – знают, что тебе нравятся парни?

– Да ну! – Ян коротко смеётся. – И не хочу, чтоб знали.

Он отходит от шкафа, и Саймон пропускает его вперёд.

– Ну, я побежал. А ты будь как дома, хорошо? Главное, дверь за собой захлопни, когда будешь уходить. Она автоматическая, – объясняет Ян. Схватив из шкафа в коридоре пиджак, он задерживается в дверях. – Было здорово.

Оставшись один, Саймон застывает на миг. Клара не знает, где он. И Герти, наверное, с ума сходит. Восемь утра – значит, в Нью-Йорке одиннадцать; шесть дней, как он уехал. Что он за человек, поступать так с матерью? В кухне на столе он находит телефон. Слушая гудки, представляет телефонный аппарат у них дома – кнопочный, кремового цвета. Мысленно видит, как Герти спешит к телефону – мамочка, родная, надо ей всё объяснить, – как она нетерпеливо

хватает трубку.

– Алло!

Саймон вздрагивает: Дэниэл.

– Алло, – повторяет Дэниэл. – Кто говорит?

Саймон откашливается.

– Привет!

– Саймон! – Дэниэл выдыхает, протяжно и шумно. – Господи! Какого хрена, Саймон! Где тебя носит?

– Я в Сан-Франциско.

– И Клара с тобой?

– Да, со мной.

– Ясно. – Дэниэл говорит не спеша, с расстановкой, будто обращаясь к капризному ребёнку – И что же ты делаешь в Сан-Франциско?

– Погоди. – Саймон потирает лоб, в висках стучит от боли. – Ты же должен быть на занятиях.

– Да, – произносит Дэниэл с прежним ледяным спокойствием, – да, Саймон, я должен быть на занятиях. Хочешь знать, почему я не на занятиях? Потому что мама мне позвонила в истерике в пятницу вечером, когда ты не вернулся домой, а я, как сраный примерный сын, как единственный, блядь, разумный человек в семье, приехал, чтобы быть рядом. Не миновать мне хвостов в этом семестре.

Голова у Саймона кругом. Не в силах всё это осмыслить, он лишь говорит:

– Варя тоже разумная.

Дэниэл будто не слышит.

- Так я повторяюсь. За каким чёртом ты подался в Сан-Франциско?

- Мы решили уехать.

- Да, это я понял. Не сомневаюсь, было КЛЁВО! Поразвлекались, и хватит. Теперь подумаем, что тебе делать дальше.

Что делать дальше? Небо за окном – безбрежная синь.

- Смотрю расписание на завтра, – продолжает Дэниэл, – есть поезд из Фолсома, в час дня. Пересадка в Солт-Лейк-Сити, вторая в Омахе. Это тебе обойдётся в сто двадцать баксов – надеюсь, они у тебя имеются, ведь не с пустым карманом ты ехал через всю страну, – но если ты ещё глупее, чем я думал, переведу их на Кларин счёт. Тогда придётся тебе подождать и уехать в четверг. Договорились? Саймон? Ты слушаешь?

- Никуда я не поеду. – Саймон плачет: он понял, что назад пути нет – между ним и домом будто выросла стеклянная стена, прозрачная, но непреодолимая.

Голос Дэниэла смягчается:

- Ну-ну, малыш. Понимаю, на тебя столько всего навалилось. Как и на всех нас. Папы нет – немудрено, что на тебя накатило. Но имей же совесть! Ты нужен маме, нужен в мастерской. Нам нужна и Клара, но... но на неё уже рукой махнули, понимаешь? Вот что, я знаю, как она это умеет. Если она что задумала, то хоть кол на голове теши. Вот она тебя и уговорила. Но она не имеет права впутывать тебя в свои авантюры. То есть... Господи, тебе же в школе ещё два года учиться. Одно слово, ребёнок.

Саймон молчит. Издалека слышен голос Гerti:

- Дэниэл! С кем ты там разговариваешь?

- Подожди, мам! – кричит Дэниэл.

– Я здесь, Дэн. Жду.

– Саймон, – продолжает Дэниэл строго, – ты хоть можешь представить, каково мне здесь? Мама совсем спятила, в полицию заявить хочет. Я тут стараюсь вовсю, говорю ей, что ты образумишься, но дальше тянуть некуда. Тебе всего шестнадцать, несовершеннолетний. И по закону тебя положено разыскивать.

Саймон всё плачет, привалившись к столу.

– Сай!

Саймон утирает ладонями щёки и осторожно вешает трубку.

З

К концу мая Клара успела заполнить десятки анкет для соискателей, но на собеседования её пока не зовут. Город меняется, и самого интересного она не застала – ни хиппи, ни театра “Диггеры”[14 - “Диггеры” (The Diggers) – уличный импровизационный театр в районе Хайт-Эшбери в Сан-Франциско в 1966–1968 гг.], ни ЛСД-тусовок в парке “Золотые ворота”. Она мечтала играть на тамбурине и слушать Гэри Снайдера[15 - Гэри Снайдер (р. 1930) – американский поэт, эссеист, преподаватель, представитель битничества и “Сан-Францисского ренессанса”. 14 января 1967 г. вёл самый крупный митинг-концерт хиппи, собравший более 20 тыс. человек, на стадионе для поло в парке “Золотые ворота”.] на стадионе для поло, но сейчас парк наводнили гомосексуальные проститутки и наркоторговцы, а хиппи остались бесприютными. Деловой Сан-Франциско её не принимает, да ей и не надо. Она обходит феминистские книжные магазины на Мишен-стрит, но продавщицы презрительно косятся на её легкомысленные платяца; хозяйки кофеен – лесбиянки – даже цементные полы клали своими руками, а теперь им помощь не нужна и подавно. Скрепя сердце Клара обращается в бюро по найму.

– Нам нужно хоть как-то перекантоваться, – утешает она Саймона. – Нужно что-то несложное, чтобы быстро заработать. Необязательно что-то для нас значимое.

Саймон вспоминает про клуб на первом этаже. Он не раз проходил мимо вечерами, когда там полно молодёжи и пурпурный свет слепит глаза. На следующий день он курит на крыльце, и наконец к дверям подходит мужчина средних лет – не выше полутора метров, огненно-рыжий – со связкой ключей.

– Здравствуйте! – Саймон затаптывает окурок. – Я Саймон, живу здесь, наверху. – И протягивает руку.

Коротышка щурится, жмёт её:

– Бенни. Чем могу помочь?

Интересно, кем он был раньше, до приезда в Сан-Франциско? – думает Саймон. Смахивает на актёра, с ног до головы в чёрном – кроссовки, футболка, джинсы.

– Я ищу работу, – отвечает Саймон.

Бенни толкает плечом стеклянную дверь и, придерживав её ногой, пропускает Саймона.

– Хмм... работу? Лет тебе сколько?

Он расхаживает по залу: щёлкает выключателями, проверяет дым-машины.

– Двадцать два. Я мог бы стоять за стойкой.

Саймон думал, что это звучит солидней, чем “быть барменом”, но, как видно, ошибся. Бенни, усмехаясь, подходит к стойке, расставляет табуреты.

– Во-первых, – отвечает он, – не ври. Сколько тебе – семнадцать? Восемнадцать? Во-вторых, не знаю, как там у вас, а у нас в Калифорнии нельзя “стоять за стойкой”, если тебе нет двадцати одного, а я не хочу из-за смазливового новичка лишиться лицензии. В-третьих...

– Ну пожалуйста... – Саймон в отчаянии: если он не найдёт работу, а Герти продолжит его искать, делать нечего, придётся вернуться домой. – Я здесь недавно, и мне нужны деньги. Я на любую работу согласен – полы буду мыть,

печати на руки ставить. Я...

Бенни делает ему знак замолчать.

- В-третьих. Если б я и взял тебя на работу, за стойку я бы тебя не поставил.

- А куда бы поставили?

Бенни молчит, упершись ногой в перекладину табурета. И указывает на одну из лиловых платформ, расставленных по залу через равные промежутки:

- Вон туда.

- Правда? - Саймон смотрит на платформы, каждая высотой больше метра и почти метр шириной. - И что я там делать буду?

- Будешь танцевать, малыш. Как думаешь, справишься?

Саймон улыбается во весь рот:

- Да, это я умею. И это всё?

- Да, это всё. На твоё счастье, Майки на прошлой неделе от нас уволился. Иначе у меня ничего бы для тебя не нашлось. Но мордашка у тебя славная, а в гриме...

- Бенни наклоняет голову. - В гриме - да, будешь выглядеть старше.

- В каком гриме?

- А ты как думал? В пурпурной краске! С головы до пят! - Бенни достаёт из чулана веник и замечает следы прошлой ночи: гнутые соломинки, щеки, лиловый пакетик от презерватива. - Приходи к семи. Ребята тебе объяснят, что и как.

Их пятеро, у каждого свой шест. Ричи - сорокапятилетний старожил, мускулистый, стриженный по-армейски, под ёжик, - выступает за первым шестом, у окна. Напротив, за вторым, - Лэнс, выходец из Висконсина,

добродушный, улыбчивый; над ним подтрунивают за канадский акцент. За третьим – Леди, трансвестит двухметрового роста; за четвёртым – Колин, тощий, будто поэт, с печальными глазами. Леди называет его исусиком. Адриан – смугло-золотой красавец, кожа без единого волоска – занимает пятый шест.

– Эй, шестой! – выкрикивает Леди, когда в гримёрку заходит Саймон. – Будем знакомы!

Леди чернокожая, скуластая, глаза тепло сверкают из-под густых ресниц. Все танцоры выступают в лиловых стрингах, лишь Леди разрешено носить кожаное платье в обтяжку – разумеется, пурпурное – и туфли на толстой платформе.

Она встряхивает баночку с пурпурным гримом:

– Развернись-ка, детка, я тобой займусь.

Адриан присвистывает, и Саймон послушно, с улыбкой поворачивается. Он уже успел напиться. Нагнувшись пониже, он трясет поднятым задом, и Леди визжит от восторга. Лэнс включает радио – группа “Шик”, “Ле Фрик”, – а Адриан достаёт из косметички тюбик пурпурного грима. Он красит Саймону лицо, наносит ему тональный крем вокруг ноздрей, на лоб, на мочки ушей. Когда они готовы, уже почти девять – время строиться и идти в зал.

Даже в столь ранний час клуб переполнен, и Саймон на миг слепнет. Даже в самых дерзких сан-францисских мечтах не смел он вообразить, что станет заниматься чем-то подобным. Если б не Кларина бутылка “Смирнофф”, развернулся и удрал бы домой, как струсивший дублёр из научно-фантастического гей-порно. Но когда все расходятся по местам, Саймон становится позади платформы номер шесть. Леди, самая высокая, помогает каждому взобраться на стойку. Ричи, спортивный и мускулистый, скачет как мячик, размахивает кулаком, крутит в воздухе невидимое лассо. Лэнс простоват и обаятелен; вокруг его пьедестала уже толпятся поклонники – улюлюкают, подзадоривают, а он пляшет “автобусную остановку” и “прифанкованного цыплёнка” [16 - Движения танца гоу-гоу.]. Колин, под кайфом от метаквалона, вяло покачивается. Иногда он, раскинув руки, водит ладонями, словно мим. Адриан двигает бёдрами взад-вперёд, поглаживает пах. Саймон, глядя на него, вот-вот кончит.

Леди подходит к нему сзади.

- Ну что, готов? Поднимаю? – шепчет она.

- Готов, – отвечает Саймон – и вдруг взлетает в воздух. Леди ставит его на пьедестал, крепко держа за талию. Когда она отпускает руки, Саймон замирает. Публика смотрит на него с любопытством.

- Поприветствуем новенького! – вопит через весь зал Ричи.

Жиденькие аплодисменты, свист. Всё громче музыка – АББА, “Королева танца”. Саймон глотает воздух. Двигает бедрами влево-вправо, но пластики ему недостаёт, не то что Адриану, чувствует он себя скованно и неуклюже, как девочка-паинька на школьной дискотеке. Он пробует подражать Ричи, тоже прыгает – так получается более естественно, но слишком уж похоже на Ричи. Он машет рукой в сторону публики, поводит плечом.

- Зажигай, детка! – кричит чернокожий в белой майке и обрезанных джинсах. – Знаю, ты можешь лучше!

У Саймона пересохло во рту. “Расслабься, – шепчет у него за спиной Леди – она ещё не ушла на свою платформу – Плечи вниз”. Саймон только сейчас понимает, что втянул голову в плечи по самые уши. Стоит их опустить, как и шея расслабляется, и ноги уже не такие деревянные. Он поводит бёдрами, запрокидывает голову. Он уже не подражает другим танцорам, а растворяется в музыке, и тело само находит ритм, как во время бега. Сердце бьётся часто, но ровно, будто электрический ток пульсирует от корней волос до кончиков пальцев, подгоняя его: ещё, ещё!

Когда он приходит в клуб на следующий день, Бенни протирает стойку бара.

- Ну как я, справился?

Бенни, не глядя на него, поднимает брови:

- Кое-как справился.

– Что значит “кое-как”?

У Саймона до сих пор голова кругом при воспоминании о том, как он танцевал бок о бок с накачанными красавцами, как ловил на себе восхищённые взгляды. На один миг, в гримёрке, он почувствовал себя среди друзей. Он не вспоминал ни о доме, ни о матери, не думал о том, как отозвался бы о здешней публике отец.

Бенни достаёт губку, вытирает со стойки засохший сахарный сироп.

– Ты раньше танцевал?

– Угу, танцевал. Танцевал, конечно.

– Где же?

– В клубах.

– В клубах! Там, где на тебя никто не смотрит, да? Там, где ты один из многих? Всё, забудь, здесь на тебя смотрят! Ну а мои ребята? Они танцевать умеют, они мастера. Мне нужно, чтобы ты, – он машет губкой в сторону Саймона, – не отставал.

Саймон уязвлён. Да, поначалу он был слегка скован, но под конец расслабился и вошёл во вкус, разве нет?

– А Колин? – спрашивает Саймон, лихо передразнивая его шаткую походочку, повадки мима. – Он не отстаёт?

– У Колина, – объясняет Бенни, – есть изюминка. Педики из мира искусства его обожают. И у тебя должна быть изюминка. А ты вчера что делал? Переминался с ноги на ногу, будто тебя клопы кусают. Так не пойдёт.

– По-вашему, я не в форме? Я же спортсмен, бегом занимаюсь!

– Ну и что? Бегать всякий может. Посмотри на Барышникова, на Нуреева – разве они бегают? Они летают! Вот почему они – артисты. Ты симпатяга, спору нет, но у здешней публики планка высокая, на одной внешности далеко не уедешь.

– А что ещё нужно?

Бенни вздыхает:

– Индивидуальность нужна. Притягательность.

Саймон смотрит, как Бенни выдвигает кассовый ящик и пересчитывает выручку с прошлой ночи.

– Так вы меня увольняете?

– Нет, не увольняю. Но я хочу, чтобы ты подучился, понял, как надо двигаться. На углу Чёрч-стрит и Маркет-стрит есть школа танцев – балет. Ребят там полно, не будешь один среди девчонок.

– Балет? – смеётся Саймон. – Да ну! Это не по моей части!

– А клуб по твоей части? – Бенни вытаскивает две толстые пачки банкнот, перетягивает резинками. – Ты и так вышел за привычные рамки, малыш. Что тебе ещё один шаг?

4

Снаружи Балетная академия Сан-Франциско – всего лишь узкая белая дверь. Саймон взбирается по крутым ступеням, сворачивает на лестничной площадке направо и оказывается в небольшой приёмной: скрипучий паркет, пушистая от пыли люстра. Саймон не ожидал, что артисты балета такие шумные. Стайки девушек щебечут всюду, разминаясь у станков, а юноши в чёрных трико переругиваются, массируя бёдра. Администратор записывает его в смешанную группу на двенадцать тридцать – “Пробное занятие бесплатное” – и протягивает пару чёрных парусиновых тапочек из корзины с забытыми вещами. Саймон присаживается, чтобы обуться. Через миг за его спиной хлопает стеклянная дверь и высыпает толпа девочек-подростков в тёмно-синих трико, волосы

стянуты так туго, что глаза чуть не вылезают из орбит. Позади них – зал, просторный, как школьная столовая. Саймон вжимается в стену, пропуская девочек. Приходится собрать всю волю, чтобы пулей не кинуться вниз по лестнице.

Остальные танцоры, подхватив сумки и бутылки с водой, бодро шагают в зал. Здесь веет стариной: высокие потолки, истёртый паркет, фортепиано на подмостках. Ученики выносят в центр зала тяжёлые металлические станки, и тут заходит немолодой преподаватель. Позже Саймон узнает, что это сам директор академии, Гали, эмигрант из Израиля, – когда-то он выступал в Балете Сан-Франциско, но его карьера оборвалась из-за травмы спины. На вид ему под пятьдесят. Упругая походка, поджарое тело гимнаста, голова бритая, и ноги тоже. На нём тёмно-бордовый гимнастический комбинезон с шортиками, кожа на бёдрах гладкая, мышцы рельефные.

Гали кладёт руку на станок, и в зале повисает тишина.

– Ноги в первой позиции, – говорит он и показывает: пятки вместе, носки врозь. – Теперь руки; раз – плие, два – выпрямились. Подняли руку – три, приседаем, гран-плие – четыре, пять – руки en bas[17 - Вниз (фр.)], шесть, семь – вверх. На счёт восемь переходим во вторую позицию.

С тем же успехом он мог говорить по-голландски. Не успели закончить с плие, а у Саймона уже болят колени, ноют пальцы ног. Чем дальше, тем заковыристей упражнения: дегаже и рон де жамб, размашистые круги ногами на полу, затем в воздухе; пируэты и фраппе; девлоппе – согнуть и разогнуть ногу – и гран-батман, чтобы размять мышцы бёдер и подколенные сухожилия перед сложными прыжками. После сорокапятиминутной разминки, столь изнурительной, что Саймон не представляет, как выдержит ещё столько же, танцоры уносят станки, выходят в центр зала и разучивают групповые движения. Гали расхаживает по залу, напевая нечто невразумительное: “Ба-ди-да-дам! Да-пи-па-пам!” – но во время пируэтов он вдруг вырастает у Саймона за спиной.

– Боже! – Глаза у него тёмные, запавшие, но в глубине танцуют огоньки. – Что у нас сегодня – большая стирка?

Саймон в той же полосатой футболке поло, в которой ехал на автобусе в Сан-Франциско, и в спортивных трусах. После занятий он бежит в туалет, сбрасывает чёрные тапочки – на ногах уже мозоли, – и его рвёт в унитаз.

Вытерев рот туалетной бумагой, он, задыхаясь, приваливается к стене. Он не успел закрыться в кабинке, и другой танцор, зайдя в туалет, застывает как вкопанный. Саймон в жизни не видал таких красавцев, тот будто высечен из оникса – кожа тёмная, почти чёрная. Лицо круглое, выступающие скулы изгибаются как крылья, в ухе блестит крохотная серебряная серёжка.

– Эй! – Со лба у него струится пот. – Всё в порядке?

Саймон, кивнув, протискивается мимо. Преодолев длинную лестницу, он ошалело бредёт по Маркет-стрит. Плюс восемнадцать, ветрено. Повинуясь порыву, Саймон снимает рубашку, вытягивает руки над головой. Ветерок холодит грудь, и нежданная радость обжигает Саймона.

То, что он сделал сейчас, – изощрённое издевательство над собой, даже ещё труднее, чем полумарафон, который он выиграл в пятнадцать лет: подъёмы и спуски, топот ног, и посреди всего этого – Саймон, бежит по набережной Гудзона. Он нащупывает в заднем кармане чёрные тапочки. Они будто дразнят его. Он должен стать как другие танцоры – умелым, виртуозным, неутомимым.

В июне Кастро расцветает. Листовки против “Поправки номер шесть” [18 - “Поправка номер шесть” (“Инициатива Бриггса”) – законопроект, предложенный в 1978 г. Джоном Бриггсом, о принудительном увольнении из государственных школ гомосексуальных учителей.] кружатся в воздухе, как листья; всюду цветы, такие пышные, что почти противно от их изобилия. Двадцать пятого июня Саймон идёт с танцорами из “Пурпура” на Парад свободы. Он не представлял, что в городе и в стране столько геев, сейчас здесь собрались двести сорок тысяч человек, смотрят, как разъезжают “Дайки на байках” [19 - “Дайки на байках” (Dykes on Bikes, Лесбиянки на мотоциклах, англ.) – международная сеть лесбиянок, предпочитающих мотоциклы как средство передвижения. Впервые появились на гей-параде в Сан-Франциско в 1976 г.], как взвивается в воздух первый радужный флаг. Из люка на крыше “вольво” на ходу высовывается Харви Милк [20 - Харви Бернанд Милк (1930–1978) – американский политический деятель, первый открытый гей, избранный на государственный пост в штате Калифорния. Убит 27 ноября 1978 г. в Сан-Франциско.].

– Джимми Картер! – вопит Милк сквозь рёв толпы, высоко задрав красный рупор. – Ты говоришь о правах человека! В нашей стране пятнадцать-двадцать миллионов геев и лесбиянок. Когда же ты заговоришь об их правах?

Саймон целует Лэнса, виснет на шее у Ричи, охватив ногами его широкую мускулистую талию.

Впервые в жизни Саймон начал ходить на свидания – так он это называет, хотя обычно подразумевается только секс. Есть танцор из клуба “Ай-Бим” и бармен из кафе “Флор”, вежливый тайванец, который так шлёпает Саймона, что у того потом долго зад горит. Саймон сильно влюбляется в парнишку-мексиканца, Себастьяна, сбежавшего из дома, проводит с ним три блаженных дня в парке “Долорес”, а на четвёртый день просыпается один, рядом валяется мягкая шляпа Себастьяна, зелёная с розовым, – больше Саймон никогда своего мексиканца не видел. Но вокруг столько других: и бывший наркоман из Алапахи, штат Джорджия; и сорокалетний репортёр из “Кроникл”, вечно на спидах; и австралиец-бортпроводник – такого огромного члена Саймон даже вообразить не мог.

По будням Клара встаёт в седьмом часу утра, надевает скучный бежевый костюм – жакет с юбкой из комиссионного магазина, таких у неё два – и идёт на работу. Работает она полдня в страховой компании, полдня в зубной клинике, возвращается злющая, и Саймон старается ей не попадаться, пока она не выпьет. Она жалуется на своего начальника-стоматолога, но почему-то срывает злобу на Саймоне, когда тот прихорашивается перед зеркалом или приходит из “Пурпура” – усталый, разгорячённый, весь в потёках лилового грима. Может быть, дело в сообщениях на автоответчике, а они поступают каждый день: слёзные послания от Герти, прокурорские речи Дэниэла, мольбы Вари, с каждым разом всё более отчаянные, – после выпускных экзаменов она перебралась домой.

“Если ты не вернёшься, Саймон, мне придётся отложить аспирантуру. – Голос её срывается. – Кто-то же должен присматривать за мамой. И не понимаю, почему всегда я”.

Иногда он застаёт у телефона Клару с проводом, обмотанным вокруг запястья, та умоляет кого-то из родных войти в их положение.

- Они же тебе не чужие, - твердит она потом Саймону. - Рано или поздно тебе придётся объясниться.

Только не сейчас, думает Саймон, в другой раз. Если он с ними заговорит, их голоса вторгнутся в тёплый океан, где он блаженствует, и его, мокрого, задыхающегося, выбросит на берег.

Однажды в понедельник, в июле, Саймон возвращается из академии, Клара дома - сидя на матрасе, играет с шёлковыми платками. За её спиной к оконной раме приклеена фотография бабушки по матери - странной женщины, чей крохотный рост и огненный взгляд всегда внушали Саймону страх. Есть в ней что-то от ведьмы из сказки - нет, ничего зловещего, но она будто не имеет ни пола, ни возраста: не ребёнок и не взрослая, не женщина и не мужчина, а нечто среднее.

- Что ты здесь делаешь? - удивляется Саймон. - Почему не на работе?

- Я ухожу.

- Уходишь? - повторяет Саймон с расстановкой. - Почему?

- Осточертело всё, вот и ухожу. - Клара прячет один из платков в левом кулаке, вытаскивает с другой стороны - платок уже не чёрный, а жёлтый. - Разве непонятно?

- Придётся тебе искать другую работу. За квартиру надо платить, один я не потяну.

- Знаю. Будет у меня другая работа. Для чего я, по-твоему, тренируюсь? - Она машет платком у Саймона перед носом.

- Не смеди меня.

- Да пошёл ты! - Скомкав оба платка, Клара прячет их в чёрный ящик. - Думаешь, ты один имеешь право жить как тебе угодно? Ты трахаешь целый город! Танцуешь стриптиз и балет - балет! - и я ни слова против не сказала. Не тебе, Саймон, меня отговаривать.

– Я деньги зарабатываю, разве нет? Исполняю свою часть обязательств.

– Вам, пидорам из Кастро, – Клара тычет в него пальцем, – на всех плевать, кроме самих себя.

– Что? – Саймон разгневан: впервые он слышит от Клары подобное.

– Сам посуди, Саймон, у вас в Кастро сплошной сексизм! Кругом одни мужчины, а женщины где? Где лесбиянки?

– А ты-то при чём? С каких это пор ты у нас лесбиянка?

– Нет, – отвечает Клара почти с горечью и качает головой, – никакая я не лесбиянка. Но и не мужчина-гей. И вообще не мужчина. Так куда мне податься?

Клара смотрит на него, но Саймон тут же отводит взгляд.

– А я почём знаю?

– Ну а я почём знаю? Если подготовлю свою программу, то хотя бы смогу сказать, что не сидела сложа руки.

– Свою программу?

– Да! – огрызается Клара. – Свою программу! Не понимаешь, ну и ладно. Я и не жду, что ты беспокоишься хоть о чем-то, кроме себя.

– Ты же сама меня сюда вытащила! Думала, так они нас и отпустят, без боя? Разрешат здесь остаться?

Губы у Клары плотно сжаты.

– Я об этом не думала.

– Тогда о чём же, чёрт подери, думала?

На загорелых Клариных щеках выступает коралловый румянец. Обычно только Дэниэлу удаётся вогнать её в краску, однако на сей раз она молчит, будто щадит Саймона. Вообще-то сдержанность ей несвойственна, как несвойственно и прятать взгляд, но сейчас она отвернулась и чересчур сосредоточенно запирает свой чёрный ящик. Саймон вспоминает их майский разговор на крыше. “Махнём в Сан-Франциско”, – предложила она тогда, будто всерьёз не задумываясь над своими словами, будто ей только что пришло это в голову.

– В том-то и дело, – продолжает Саймон, – ты никогда не задумываешься. Вечно во что-нибудь влипаешь и меня впутываешь, но никогда не думаешь о последствиях. А если и думаешь, то тебе до них нет дела, пока не станет слишком поздно. И теперь винишь меня? Вот сама и возвращайся, раз тебя совесть грызёт!

Клара встает и шагает на кухню. Груда невымытых тарелок уже не помещается в раковине. Открыв кран и схватив губку, Клара принимается за работу.

– Я знаю, почему ты не хочешь вернуться, – продолжает Саймон, пристроившись рядом. – Это значило бы, что Дэниэл прав: нет у тебя никаких планов, ты не можешь устроить жизнь сама, вдали от семьи. Вернуться – значит признать поражение.

Саймон пытается побольней задеть сестру, вызвать на разговор – Кларино молчание для него страшнее, чем её вспышки, – но Клара не говорит ни слова, сжав губку в побелевших пальцах.

Саймон сознаёт, что поступает по-свински. И всё равно мысли о семье целыми днями с ним, будто кто-то жужжит над ухом. И в академии он учится, можно сказать, для родителей: доказывает, что в его жизни, помимо излишеств, есть место и дисциплине, и работе над собой. Своё чувство вины он умеет переплавить в прыжок, в полёт, в виртуозный пируэт.

Шауль, конечно, ужаснулся бы, узнав, что Саймон занялся балетом. Но Саймон убеждён: если бы отец, будь он жив, пришёл на него посмотреть, то понял бы, какой тяжёлый это труд. Саймону понадобилось шесть недель, чтобы научиться правильно ставить ноги, и ещё больше – чтобы усвоить, что такое пируэт. К концу лета, однако, тело уже не болит так сильно, и Гали стал уделять ему

больше внимания. Саймону по душе размеренная жизнь студии, ему нравится, что есть куда идти. В редкие минуты ему кажется, что здесь он дома – или почти дома, как и многие из них: и Томми, семнадцатилетний красавец, бывший студент Лондонской Королевской академии балета; и Бо из Миссури, который крутит по восемь пируэтов подряд; и Эдуардо с Фаузи, близнецы-венесуэльцы, приехавшие сюда на попутном грузовике с соевыми бобами.

Эти четверо танцуют в труппе академии под названием “Корпус”. В балете мужчины обычно довольствуются ролями слащавых принцев, а то и вовсе служат мебелью, но у Гали современная хореография, сложная акробатика, и семеро из двенадцати артистов “Корпуса” – мужчины. Среди них и Роберт, который застал Саймона, когда того тошнило в туалете, и Саймон с тех пор не смеет поднять на него глаз. Впрочем, вряд ли Роберт это заметил: перед занятиями все танцоры разминаются вместе, а он – один, у окна.

– Сноб, – тянет Бо с певучим южным акцентом.

На исходе август; холодный ветер принёс на Кастро туман с бульвара Сансет, и Саймон натянул спортивный свитер поверх белой футболки и чёрного трико. Морщась от боли, он массирует правую лодыжку

– Что он за птица?

– Ты хочешь сказать, педик он или нет? – спрашивает Томми, поколачивая кулаками бёдра.

– Вопрос на миллион долларов, – мурлычет Бо. – Хотел бы я знать!

Роберт выделяется не потому лишь, что держится особняком. Он ещё и прыгает выше всех, а по части пируэтов даже Бо заткнёт за пояс (“Вот гад”, – бурчит Бо, когда Роберт делает восемь оборотов подряд против его шести), и вдобавок он чернокожий. Мало того, что он чёрный в белом Кастро. Он чёрный балерун – и вовсе экзотика.

После занятий Саймон остаётся посмотреть, как репетируют “Рождение человека”, новое творение Гали. Пятеро танцоров образуют туннель: спины согнуты, колени соприкасаются, руки сплетены над головами. Роберт – Человек. Ведомый Бо, Повитухой, он пробирается через туннель, а выйдя из туннеля,

почти обнажённый, в одних тёмно-коричневых трусах, исполняет трепетное соло.

“Корпус” выступает в “чёрном ящике”[21 - “Чёрный ящик” (Black box theatre) – небольшой экспериментальный театр с минимумом декораций, обычно такие театры устраивали в заброшенных зданиях – бывших кафе, магазинах, складах.] на территории Форт-Мейсона, бывшего военного объекта в заливе Сан-Франциско. Когда начинаются репетиции, Саймон вызывается помочь – пишет под диктовку Гали, размечает сцену. Как-то раз, выйдя освежиться, он застаёт на причале Роберта с сигаретой. Тот оборачивается на звук шагов Саймона и вполне дружелюбно кивает. Расценивать ли это как приглашение, не совсем понятно, но Саймон подходит к краю причала и садится рядом.

– Будешь? – Роберт протягивает пачку сигарет.

– Ага. – Саймон изумлён: Роберта все считают помешанным на здоровом образе жизни. – Спасибо.

Над головой носятся с криками чайки; запах моря, резкий и солёный, щекочет ноздри. Саймон кашляет.

– Здорово ты танцевал!

Роберт качает головой:

– Тяжело даются мне эти туры.

– Тур жете? – переспрашивает Саймон, довольный, что не переврал название. – По мне, так было потрясающе!

Роберт улыбается:

– Ты меня щадишь.

– А вот и нет. Это правда.

Нет, не стоило этого говорить. Как навязчивый идиот-поклонник!

– Ну ладно. – Глаза у Роберта блестят. – Подскажи тогда, над чем мне стоит поработать.

Саймон лихорадочно соображает, как бы его поддеть, но, на его взгляд, Роберт – танцор без слабых мест. И Саймон говорит:

– Ты мог бы быть дружелюбнее.

Роберт хмурится:

– Я, по-твоему, недружелюбный?

– Ну да, не слишком. Разминаешься всегда один, а мне за всё время и двух слов не сказал. Впрочем, – добавляет Саймон, – я тебе тоже за всё время двух слов не сказал.

– Справедливое замечание, – кивает Роберт. Они сидят в лёгком дружеском молчании. Деревянные сваи торчат из воды, как пеньки. Изредка то на одну, то на другую садится чайка, властно кричит и снова взлетает, шумно хлопая крыльями. Саймон смотрит на чаек, и вдруг Роберт, наклонившись к нему, целует его в губы.

Саймон потрясён. Он боитсядохнуть, будто Роберт вот-вот вспорхнёт и улетит, как чайка. Губы у Роберта полные, сочные, на вкус отдают потом, табаком и чуть-чуть морской солью. Саймон закрывает глаза. Если бы не причал внизу, он рухнул бы без чувств прямо в воду. Когда Роберт отстраняется, Саймон подаётся вперёд, будто ища его снова, и едва не теряет равновесие. Роберт, смеясь, придерживает Саймона за плечо, чтобы тот не упал.

– Я не знал... – Саймон встряхивает головой, – не знал, что я... тебе нравлюсь.

Он собирался сказать “что тебе нравятся мужчины”. Роберт пожимает плечами, но в его жесте нет легкомыслия. Он задумался; взгляд, отрешённый, но сосредоточенный, направлен куда-то вдаль, на залив. Затем Роберт вновь поворачивается к Саймону и отвечает:

– И я не знал.

В тот вечер Саймон возвращается к себе поездом. Он так разгорячён воспоминаниями о поцелуе Роберта, что только об одном и мечтает: добраться до дома, захлопнуть за собой дверь и дрожить, вспоминая поцелуй, чувствуя его беспредельную власть. Но, пройдя полквартиры, он ещё издали видит под своими окнами полицейскую машину.

Рядом, опершись на капот, стоит полицейский – худощавый, рыжеволосый, на вид совсем мальчишка, чуть старше Саймона.

– Саймон Голд?

– Да, – отвечает Саймон, замедляя шаг.

Полицейский, открыв заднюю дверь, церемонно раскланивается:

– Прошу сюда!

– Что? Зачем?

– Все ответы в участке.

На языке у Саймона вертятся вопросы, но он боится сболтнуть лишнее: если полицейский ещё не знает, что он, несовершеннолетний, работает в “Пурпуре”, то и не должен узнать. Саймон силится сглотнуть, но в горле застрял ком, твёрдый, будто кулак. Заднее сиденье жёсткое, из чёрного пластика. Рыжий полицейский, сев за руль, оглядывается и, сверкнув на Саймона глазами-бусинками, закрывает защитный барьер. Они подъезжают к участку на Мишен-стрит, и Саймон следует за своим провожатым внутрь, через лабиринт кабинетов, мимо людей в форме. Наконец они оказываются в небольшом помещении с пластмассовым столом и двумя стульями.

– Садись, – велит полицейский.

На столе обшарпанный чёрный телефон. Полицейский достаёт из кармана скомканную бумажку, свободной рукой нажимает на кнопки и протягивает трубку Саймону, а тот косится на неё с подозрением.

- Ты что, тупой? - бурчит полицейский.

- Да пошёл ты! - цедит Саймон.

- Что ты сказал?

Полицейский толкает его в плечо. Стул опрокидывается назад, и Саймону приходится бороться за равновесие. Когда он падает обратно к столу и берёт трубку, левое плечо гудит от боли.

- Алло?

- Саймон.

Как он сразу не догадался? Какой же он дурак - так бы и дал себе по башке! Полицейский вдруг куда-то исчез, исчезла и боль в плече.

- Ма.

Это невыносимо: Герти рыдает, как на похоронах Шауля, хрипло, басовито, будто рыдания можно выдавить, извергнуть из себя.

- Как ты мог? - твердит она. - Как ты мог так поступить?

Саймона передёргивает.

- Прости меня.

- Стыдно тебе? Надо полагать, значит, ты домой едешь.

Горечь в голосе Герти ему знакома, но никогда ещё мать не обращалась таким тоном к нему. Первое воспоминание детства: ему два года, он лежит у мамы на

коленях, а мама перебирает ему волосы. “Одно слово, ангел, – воркует она. – Херувим!” Да, он их предал – всех предал, – но в первую очередь маму.

И всё же.

– Мне и вправду стыдно. Прости, что я так поступил – бросил тебя. Но я не могу... не хочу... – Осекшись на полуслове, Саймон начинает снова: – Ты сама выбрала, как тебе жить, ма. Вот и я хочу решить сам, как мне жить.

– Никто не решает, как ему жить. Я уж точно не выбирала. – Скрипучий смешок. – В жизни так устроено: мы делаем выбор, а он предопределяет следующий. Наши решения решают за нас. Ты поступаешь в университет – да господи, хоть школу-то закончи! – и это способ улучшить расклад. А при твоей нынешней жизни... не представляю, что с тобой будет. Да ты и сам не знаешь.

– Нов том-то и дело! Не знаю, и ладно. По мне, так лучше не знать.

– Я дала тебе время, – продолжает Герти, – велела себе подождать. Думала, если дать тебе время, ты и сам придёшь в себя. Но так и не дождалась.

– Я и пришёл в себя. Моё место здесь.

– Ты хоть раз задумался о деле?

Саймона бросает в жар.

– Выходит, дело тебе важнее меня?

– Имя... – говорит, поколебавшись, Герти, – имя сменилось. Была “Мастерская Голда”, стала “Мастерская Милавеца”. Артур теперь хозяин.

Саймона захлёстывает чувство вины. Но Артур всегда убеждал Шауля идти в ногу со временем. Излюбленные фасоны Шауля – габардиновые брюки, пиджаки с широкими лацканами – вышли из моды ещё до рождения Саймона, и теперь он с облегчением думает: мастерская в надёжных руках.

– Артур справится, – заверяет он. – С ним мастерская от жизни не отстанет.

- Мне нет дела до моды, для меня главное – семья. У нас есть обязательства перед теми, кто заботился о нас.

- А ещё есть обязательства перед собой.

Никогда он не позволял себе так дерзить матери, но убедить её – для него жизненная необходимость. Он представляет, как Герти приходит в академию на него полюбоваться, как аплодирует его прыжкам и пируэтам, сидя на складном стуле.

- Ах да! Для себя ты пожить успеваешь. Клара говорила, ты танцор.

Её презрение прорывается через трубку с такой силой, что слышно в кабинете – полицейский и тот прыскает со смеху.

- Да, танцор. – Саймон сердито сверкает глазами. – И что?

- Я не понимаю. Ты же ни дня в жизни не танцевал!

Что ей ответить? Для него самого загадка, как занятие, прежде ему чуждое, источник боли, усталости и постоянного стыда, стало для него мостиком в другой мир. Вытягиваешь ногу – и она будто вырастает на несколько дюймов. А во время прыжков паришь над землёй, точно за спиной у тебя крылья.

- Ну, – отвечает он, – теперь танцую.

Герти вздыхает шумно и прерывисто, потом долго молчит. И в её молчании вместо привычных нравоучений, а то и угроз Саймону слышится обещание свободы. Если бы в Калифорнии сбежавших из дома подростков преследовали по закону, он был бы уже в наручниках.

- Раз ты для себя уже всё решил, – говорит Герти, – домой можешь не возвращаться.

- Что?..

– Можешь, – повторяет Герти, отчеканивая каждое слово, – не возвращаться домой. Ты сделал выбор – бросил нас. Вот и расхлёбывай. Оставайся.

– Да что ты, ма, – бормочет Саймон, прижав к уху трубку, – хватит преувеличивать.

– Я не преувеличиваю, Саймон. – Герти, умолкнув, вздыхает. Тихий щелчок – и разговор обрывается.

Потрясённый, Саймон застывает с трубкой в руке. Разве не об этом он мечтал? Мать предоставила ему свободу, отпустила в мир, частью которого он стремился стать. И тут же укол испуга: его будто лишили страховки, выдернули из-под ног защитную сетку, и долгожданная головокружительная свобода внушает ужас.

Полицейский ведёт его к выходу. Снаружи, на крыльце, хватает за шкуру и дергает вверх с такой силой, что ноги у Саймона отрываются от земли.

И говорит:

– Вы, бегуны, у меня уже в печёнках сидите, знаешь?

Саймон хватается за воздух, пытаясь ногами нащупать опору. Глаза у полицейского светло-карие, водянистые, ресницы жиденькие, на щеках веснушки. На лбу, возле корней волос, несколько круглых шрамов.

– Когда я был мальцом, – продолжает полицейский, – вашего брата привозили пачками каждый божий день. Я-то думал, до вас наконец дошло, что вас здесь не ждут, а от вас всё отбоя нет, засоряете город, как жир забивает сосуды. Пользы от вас никакой, город вас кормит, как паразитов. Я родился на бульваре Сансет, и родители мои, и их родители – и так далее, вплоть до наших предков-ирландцев. Хочешь знать моё мнение? – Он наклоняется к самому лицу Саймона, розовые губы – как туго стянутый узел: – Всё, что с вами случается, – по заслугам.

Саймон, кашляя, вырывается. Краем глаза он видит огненную вспышку – рыжее пятно – сестру. Клара стоит у подножия лестницы в чёрном мини-платье с рукавами-фонариками и в тёмно-вишнёвых ботинках “Доктор Мартинс”, волосы

развеваются, словно плащ. Клара точь-в-точь как супергерой, лучезарный и грозный. Она похожа на мать.

- Как ты сюда попала? - выдыхает Саймон.

- Бенни мне сказал, что видел полицейские машины. А ближайший участок здесь. - Клара взлетает по гранитным ступеням на крыльцо и застывает лицом к лицу с полицейским. - Какого хрена вы тут вытворяли с моим братом?

Полицейский хлопает глазами. Что-то пробегает между ним и Кларой - искры, жар, ярость, оставляющая во рту едкий металлический привкус. Клара обнимает Саймона за плечи, и молоденького полицейского передёргивает. Вид у него такой прилизанный, добропорядочный, чужеродный в этом современном городе, что Саймону его почти жаль.

- Как вас зовут? - Клара косится на значок на его голубой рубашке.

- Эдди, - отвечает он, задрвав подбородок. - Эдди О'Донохью.

Сильная Кларина рука лежит на плече Саймона, все их недавние беды позади. Её защита и тепло напоминают Саймону о Герти, и горло распирает. Между тем Эдди не спускает глаз с Клары. Щёки у него порозовели, лицо слегка вытянулось, будто он видит мираж.

- Что ж, запомню, - говорит Клара. И ведёт Саймона вниз по ступеням крыльца, а оттуда - в самое сердце Мишен-стрит. Жара под тридцать градусов, лотки на тротуарах ломятся от фруктов - настоящий райский сад, - и никто не пытается их остановить.

6

- Что будешь пить? - спрашивает Саймон.

Он роется в тесной кладовой - это даже не кладовая, а стенной шкаф, где на узеньких полках хранятся припасы: крупы, супы в банках, алкоголь.

- Сделать тебе коктейль? Могу водку с тоником, виски и колу...

Октябрь: короткие серебристо-серые дни, тыквы на парадном крыльце академии. Скелет из папье-маше нарядили в мужские балетные трусы и поставили в приёмной, возле стойки администратора. Саймон и Роберт уже не раз уединялись в академии – целовались в мужском туалете или в пустой раздевалке перед занятиями, – но Роберт ещё никогда не был у него дома.

Роберт откидывается в кресле с бирюзовой обивкой:

- Я не пью.

- Совсем? – Саймон высовывается из чулана, держась за ручку двери, и ухмыляется. – У меня где-то травка есть – это по твоей части?

- Не курю. Уж точно не травку.

- Никаких пагубных пристрастий?

- Никаких.

- Не считая мужчин, – уточняет Саймон.

За окном качается на ветру ветка, заслоняя солнце, и лицо Роберта вдруг гаснет, будто лампа.

- Это не порок.

Встав с кресла, Роберт пробирается мимо Саймона к раковине, плещет в стакан воды из-под крана.

- Да ну, – говорит Саймон, – Ты же сам прячешься!

Перед занятиями Роберт по-прежнему разминается один. Как-то раз Бо их застукал, когда они вместе выходили из туалета, и аж присвистнул им вслед в два пальца, но в ответ на его расспросы Саймон сделал вид, будто не понял. Он

уверен, что если бы разболтал, Роберт не одобрил бы, а минуты наедине с Робертом – его низкий воркующий смех, ласковые ладони – слишком ему дороги, чтобы рисковать.

Роберт стоит, облокотившись на раковину.

– Если я не болтаю об этом на каждом углу, это ещё не значит, что я прячусь.

– А в чём разница? – Саймон просовывает пальцы Роберту за ремень. Ещё недавно он даже не думал, что отважится на подобную дерзость, но Сан-Франциско для него как наркотик. За те пять месяцев, что он здесь прожил, Саймон повзрослел лет на десять.

– Когда я в студии, – объясняет Роберт, – я на работе. Я молчу из уважения – к моей работе и к тебе.

Саймон привлекает его к себе, тесно прижимается бёдрами, шепчет ему в самое ухо:

– Так наплюй на уважение.

Роберт смеётся.

– Неправда, ничего ты такого не хочешь.

– Хочу. – Расстегнув Роберту молнию, Саймон лезет к нему в джинсы, хватает и стискивает член. Они так до сих пор и не переспали.

Роберт отступает:

– Ну хватит, не будь таким.

– Каким?

– Пошлым.

– Горячим, – поправляет Саймон. – У тебя же стоит!

– Ну и что?

– И что? – повторяет за ним Саймон. “И всё, всё сразу! – хочет он сказать. – И – пожалуйста!” Но вместо этого у него вырывается: – Трахни меня как сучку.

Так сказал однажды Саймону репортёр из “Кроникл”. Роберт как будто снова готов рассмеяться, но лишь кривит рот.

– Думаешь, чем мы с тобой тут занимаемся? Ничего здесь постыдного нет. Ничего.

У Саймона горит шея.

– Да, понимаю.

Роберт хватает со спинки бирюзового кресла пиджак, набрасывает на плечи.

– Понимаешь? Я порой не уверен.

– Слушай, – тревожится Саймон, – мне не стыдно, если ты это имел в виду.

Роберт медлит на пороге.

– Вот и хорошо, – отвечает он. И, аккуратно закрыв за собой дверь, сбегает по лестнице.

В день убийства Харви Милка Саймон сидит в гримёрке “Пурпура”, ждёт начала общего собрания. Понедельник, полдвенадцатого утра; танцоры недовольны, что их созвали в неурочное время, и ещё сильнее недовольны, что Бенни запаздывает. Все ждут, работает телевизор. Леди лежит на кушетке с пакетиками чая на глазах; Саймон пропускает занятия в академии.

Настроение мрачное, обречённое: неделю назад проповедник Джим Джонс организовал в Гайане массовое самоубийство.

Когда на экране вырастает лицо Дайан Файнстайн и она срывающимся голосом объявляет: “Мой долг – сообщить вам, что мэр Москоне и член Наблюдательного совета Харви Милк застрелены”, Ричи вопит так истошно, что Саймон подпрыгивает на стуле. Колин и Лэнс потрясённо молчат, Адриан и Леди плачут навзрыд, и когда наконец врывается Бенни, бледный, запыхавшийся, – в нескольких кварталах близ района Сивик-Сентер перекрыто движение, – глаза у него заплаканы. “Пурпур” закрывают на весь день, повесив на дверь чёрный шарф Леди, а вечером они вместе с жителями Кастро выходят на марш.

Конец ноября, но улицы согреты теплом тысяч людей. Толпа такая огромная, что даже в магазин за свечами Саймон идёт в обход. Продавец даёт ему двенадцать штук по цене двух и в придачу бумажные стаканчики для защиты от ветра. За пару часов к шествию присоединились полсотни тысяч человек. К зданию мэрии шагают под бой одного-единственного барабана, а те, кто плачет, плачут беззвучно. Щёки у Саймона мокры от слёз. Он плачет о Харви, но не об одном Харви. В толпе взрослых людей, рыдающих, как осиротевшие дети, Саймон думает о родителях, теперь для него потерянных навсегда. Когда хор геев Сан-Франциско поёт гимн Мендельсона – “Прибежище моё, Бог мой”, – Саймон никнет головой.

Где его Бог, его прибежище? В Бога Саймон не верит, но опять же, верит ли Бог в него? Согласно Третьей книге Моисеевой, он “мерзость перед Господом”. Что же это за Бог, который создал человека, столь ему отвратительного? На ум приходят лишь два объяснения: либо нет никакого Бога, либо он, Саймон, – выродок, ошибка природы. И неизвестно ещё, что страшнее.

Когда Саймон вытер щёки, остальные танцоры из “Пурпура” уже затерялись в суматохе. Вглядываясь в толпу, Саймон вдруг замечает знакомое лицо: добрые карие глаза, при свете яркой белой свечи блестит в ухе серебряная серёжка. Роберт.

Они не обменялись ни словом с того октябрьского вечера в квартире у Саймона, но сейчас пробираются друг к другу сквозь толчею, протягивают руки и наконец встречаются посреди людского моря.

Однокомнатная квартирка Роберта затерялась среди кривых улочек близ Рэндалл-парка. Роберт отпирает дверь, и они вваливаются в прихожую, на ходу расстёгивая друг другу рубашки и ремни. На двуспальной кровати у окна Саймон трахает Роберта, потом Роберт трахает Саймона. Только слово “трахать” тут вряд ли уместно: едва минует первый порыв страсти, Роберт становится нежен, внимателен, ласкает Саймона с таким чувством – или всё из-за Харви? – что Саймона сковывает несвойственная ему робость. Роберт берёт в рот член Саймона и сосёт. Когда Саймон вот-вот взорвется от наслаждения, Роберт поднимает на него глаза, и они смотрят друг на друга так напряжённо, что Саймон подаётся вперед и, взяв лицо Роберта в ладони, кончает.

Потом Роберт зажигает ночник. Против ожиданий Саймона, обстановка у него в доме далека от спартанской – квартира полна сувенирами, привезёнными из первых международных гастролей “Корпуса”. Здесь и хохломские миски, и японские статуэтки-журавлики. Презервативы и те в лакированной коробочке. Напротив кровати – деревянная полка с книгами: “Сула”[22 - “Суда” (Sula, 1972) – роман американской писательницы Тони Моррисон о судьбе афроамериканки в Огайо в период между двумя мировыми войнами; в 1973 г. выдвигался на Национальную книжную премию США.], “Человек футбола”[23 - “Человек футбола” (The Football Man, 1968) – книга знаменитого спортивного обозревателя Артура Хопкрафта, сборник его лучших статей о футболе.], – а в крохотной кухоньке висят сковородки. Вход в спальню сторожит картонная фигура – футболист в прыжке, в полный рост.

Они курят, облокотившись на подушки.

– Я его как-то раз видел, – говорит Роберт.

– Кого – Милка?

Роберт кивает.

– После его поражения во второй кампании – кажется, в семьдесят пятом? Видел его в баре рядом с фотоателье. Толпа его качала, а он смеялся, и я подумал: вот кто нам нужен. Тот, кто не падает духом. А не старый нытик вроде меня.

– Харви был старше тебя. – Саймон улыбается, но улыбка гаснет, едва он понимает, что говорил сейчас о Харви в прошедшем времени.

– Да, старше. Впрочем, держался он по-молодому. – Роберт пожимает плечами. – Вот что, на парады я не хожу. И в клубы не хожу. А в бани и подавно.

– Почему не ходишь?

Роберт вглядывается в лицо Саймона:

– Много ли ты здесь видишь таких, как я?

– Попадаются чернокожие. – Саймон краснеет. – Но не так уж много.

– То-то и оно! Не так уж много, – подтверждает Роберт. – А попробуй-ка отыщи хоть одного в балете. – Роберт тушит сигарету. – Тот полицейский, который тебя задержал... подумай, как бы он поступил, будь ты как я.

– Знаю, – кивает Саймон, – я бы так легко не отделался.

Роберт так ему нравится, что Саймон не желает признавать пропасти между ними. То, что оба геи, в глазах Саймона их уравнивает. Но Саймону легко скрыть, что он гей. А расу не спрячешь, тем более что почти все в Кастро белые.

Роберт опять закуривает.

– А ты почему не ходишь в бани?

– Кто сказал, что не хожу? – переспрашивает Саймон, но Роберт в ответ лишь фыркает, и Саймон подхватывает. – Сказать по-честному? Побаиваюсь. Для меня это, пожалуй, слишком.

Может ли удовольствия быть через край? При мысли о банях Саймону видится разгул плоти, дно, преисподняя: засосёт – и уже не выплывешь. Роберту он не солгал: он чувствует, что для него это слишком, и в то же время боится, что войдёт во вкус и похоть его будет безмерна, неутолима.

– Понял тебя. – Роберт морщит нос: – Гадость.

Саймон приподнимается на локте:

- Так почему ты переехал в Сан-Франциско?

- В Сан-Франциско я переехал, потому что выбора у меня не было. Я из Лос-Анджелеса - район под названием Уоттс, слышал?

Саймон кивает:

- Да, там беспорядки были.

В 1965-м, когда Саймону было почти четыре года, Герти повела их с Кларой в кино, пока старшие дети были в школе. Что за фильм, он забыл, зато хорошо помнит кинохронику перед сеансом. Весёленькая заставка "Юниверсал Студиос" и знакомый ровный голос Эда Хёрлихи - ни то ни другое совершенно не вязалось с чёрно-белыми кадрами, что за этим последовали: тёмные улицы в дыму, горящие здания. И под зловещую музыку Эд Хёрлихи пустился расписывать, как чёрные громилы кидаются кирпичами, как снайперы стреляют с крыш в пожарных, как мародёры тащат всё, от бутылок с вином до детских манежей, - но Саймон видел лишь полицейских в бронежилетах и с револьверами, шагавших по пустым улицам. Под конец показали двух негров, но то были явно не громилы, которых описывал Эд Хёрлихи: в наручниках, под конвоем белых полицейских, они шли обречённо, с достоинством.

- Да. - Роберт тушит сигарету о голубое блюдце. - Учился я неплохо - мама у меня учительница, - но, главное, я был сильный. В футбол играл. В десятом классе меня взяли в сборную школы. Мама надеялась, что мне выделят стипендию и я поступлю в колледж. А когда к нам приехал футбольный агент из Миссисипи, стал надеяться и я.

Другие любовники Саймона не говорили с ним по душам. Саймон, если на то пошло, с ними тоже не откровенничал, тем более о семье. Впрочем, такая уж в Кастро публика - люди без прошлого, застывшие во времени, словно мухи в янтаре.

- Ну и как, дали тебе стипендию?

Роберт медлит с ответом, будто испытывает Саймона.

– Я очень сблизился с одним пареньком из нашей команды, – продолжает он, – Данте. Я был защитником, а Данте – принимающим игроком. Я чувствовал, что он отличается от других. И он тоже чуял, что я не такой, как все. Ничего между нами не было до одиннадцатого класса, до последней тренировки перед каникулами. Данте в то лето собирался уезжать, ему предложили стипендию в Алабаме. Я думал, мы с ним больше не увидимся. Мы ждали в раздевалке, пока все разойдется, нарочно долго натягивали уличную одежду. А потом снова разделись.

Роберт затягивается, выпускает дым. За окном до сих пор светло – шестивью нет конца. Каждый огонёк свечи – один человек. Мерцают белые язычки, точно опустились на землю звёзды.

– Ей-богу, я не слышал, чтобы кто-то зашёл. Но наверное, всё-таки зашёл. На другой день меня выгнали из команды, а Данте лишили стипендии. Даже барахло из шкафчиков забрать не дали. В последний раз я его видел на автобусной остановке – шапка на глаза надвинута, подбородок трясётся. И смотрит на меня так, будто убить готов.

– Боже... – Саймон ёрзает на постели. – Что с ним стряслось?

– Его подстерегли ребята из нашей команды. Меня тоже подкараулили, но я легко отделался. Я был крупнее, сильнее – защитник как-никак. Другое дело Данте. Ему лицо изуродовали, бейсбольной битой сломали позвоночник. А потом оттащили на поле и привязали к ограде. Сказали, что убивать не собирались, да какой мудака им поверил бы?

Саймон качает головой, от страха его мутит.

– Судья, вот кто поверил, – продолжает Роберт. – Я знал, что если там останусь, то с ума сойду. Вот и приехал в Сан-Франциско. Стал учиться танцам – из балета не выгоняют за то, что ты гей. Нет ничего на свете голубей балета. Но ведь недаром Линн Суонн[24 - Линн Суонн (р. 1952) – игрок в американский футбол, преподаватель, политический деятель.] танцами занимается. Нагрузка адская. И делает тебя сильнее.

Роберт залезает под одеяло, прячет лицо на груди у Саймона, и Саймон прижимает его к себе. Как ему утешить Роберта – взять за руку? Поговорить с ним? Погладить по голове? Новое, взрослое чувство ответственности за другого человека пугает его; здесь гораздо легче допустить промах, чем в сексе.

В апреле Гали звонит Саймону и вызывает в театр, срочно. Саймон хватает спортивную сумку и, не пожалев денег, едет на такси. Гали встречает его у служебного входа.

– Эдуардо получил травму на репетиции, – сообщает он. – Делал со-де-баск[25 - Со-де-баск (фр. saut de basque, “прыжок басков”) – прыжок с одной ноги на другую с поворотом в воздухе.] и подвернул ногу. Нелепая случайность... ужасно. Надеемся, это всего лишь растяжение, а не что похуже. Даже если так, он выбыл из строя на месяц. – Гали кивает Саймону: – Ты знаешь хореографию.

Его не спрашивают – ему предлагают партию в “Рождении человека”. У Саймона сжимается сердце.

– То есть... да, знаю. Но я...

Он хочет сказать: “Но я не потяну”.

– Будешь стоять последним, – распоряжается Гали. – Выбора у нас нет.

Саймон следует за ним по длинному коридору к гримёрным. Эдуардо скрючился на полу, нога на деревянном ящике, на лодыжке пакет со льдом. Глаза у него красные, но при виде Саймона он всё-таки находит силы улыбнуться.

– Хотя бы, – шутит он, – костюм для тебя подбирать не надо.

В “Рождении человека” весь костюм танцора – балетные трусы, ягодицы и те наружу. В этом смысле “Пурпур” – неплохая школа: на сцене Саймон полностью раскован, нагота не мешает сосредоточиться на движениях. Огни рампы светят так ярко, что не видно зрителей, и Саймон внушает себе, что их и вовсе нет, только он сам и Фаузи, Томми и Во, все направляют Роберта на пути сквозь рукотворный туннель. Когда они выходят кланяться, Саймон так стискивает

руки товарищей, что ладони горят. После спектакля они как были, в гриме, едут в клуб “Кью-Ти” на Полк-стрит. Саймон в порыве восторга хватается Роберта и целует при всех. Все их подбадривают, и Роберт улыбается так смущённо и радостно, что Саймон снова его целует.

А осенью Саймону дают партию в “Крепком орешке”, “корпусовской” версии “Щелкунчика”. После хвалебной статьи в “Кроникл” продажи билетов вырастают вдвое, и Гали по такому случаю устраивает вечеринку у себя в Аппер-Хайт. Коричневая кожаная мебель; апельсины в золотой вазе на камине благоухают на весь дом. Пианист из академии играет Чайковского на “Стейнвее” Гали. Дверные проёмы увиты омелой, и то и дело среди общего гула раздаются радостные вопли, когда случайным парочкам приходится целоваться. Саймон приходит с Робертом, тот в бордовой рубашке и нарядных чёрных брюках, вместо серебряной серёжки в ухе сверкает бриллиант размером с горошину перца. Посреди беседы со спонсорами Роберт уводит Саймона из-за стола с закусками в коридор, а оттуда – через стеклянные двери в сад.

Они садятся на деревянный настил. Даже в декабре сад стоит в цвету: толстянки, настурции, калифорнийские маки – здешние туманы им нипочём. Саймон вдруг ловит себя на мысли: вот бы и мне такую жизнь – успех, свой дом, любимый человек. Он всегда считал, что всё это не для него, что он создан для другой жизни, не столь благополучной и чистой. И дело не только в том, что он гей, а ещё и в пророчестве. Саймон мечтал бы о нём забыть, но все эти годы оно разъедало ему душу. Он ненавидит и гадалку за то, что предсказала ему такое будущее, и себя за то, что поверил. Если пророчество – ядро на ноге, то его вера – цепь; будто кто-то ему нашептывает: “Скорей! Беги! Не жди!”

Роберт говорит:

– Я переезжаю.

На прошлой неделе он откликнулся на объявление о сдаче квартиры на Эврика-стрит. Квартира с кухней и палисадником, оплата фиксированная. Саймон ходил смотреть её вместе с Робертом и дивился стиральной машине, посудомойке, остеклённой веранде.

– Сосед у тебя уже есть? – спрашивает Саймон.

Настурции весело кивают рыжими головками. Роберт, сев поудобнее, улыбается:

- Хочешь жить со мной?

Звучит так заманчиво, что Саймона пробирает дрожь:

- Это рядом с академией. Машину подержанную купим, в дни спектаклей будем вместе в театр ездить. Сэкономим на бензине.

Роберт смотрит на него так, будто Саймон признался, что он не гей.

- Хочешь жить со мной, чтобы экономить на бензине?

- Нет! Нет... При чём тут бензин? Не в бензине дело, конечно.

Роберт качает головой, по-прежнему улыбаясь и не сводя с Саймона глаз:

- Не хватает духу признаться?

- В чём признаться?

- Как ты ко мне относишься.

- Да запросто!

- Ну давай. Как ты ко мне относишься?

- Ты мне нравишься, - отвечает Саймон слишком уж поспешно.

Роберт хохочет, запрокинув голову.

- Врун из тебя херовый!

Они в новой квартире, распаковывают вещи – Саймон, Роберт и Клара, которая была не против переезда брата. Она даже как будто рада, что квартира на Коллингвуд-стрит останется в её распоряжении. На смену тёплому декабрю пришли холода, столбик термометра не поднимается выше плюс десяти. Для Нью-Йорка это обычная зимняя погода, но Калифорния изнежила Саймона, потому он бегаёт между квартирой и грузовиком, надев под спортивный костюм гетры. Проводив Клару, они целуются в закутке за посудомоечной машиной. Роберт крепко обнимает Саймона за талию, Саймон ласкает ягодицы Роберта, член, гордое лицо.

1980-й: новый год, новое десятилетие. Здесь, в Сан-Франциско, Саймона не волнуют ни мировой экономический спад, ни ввод советских войск в Афганистан. Они с Робертом покупают на общие деньги телевизор, и пусть вечерние новости слегка их тревожат, Кастро для них как бомбоубежище, Саймону здесь спокойно и безопасно. Его репутация в “Корпусе” упрочилась, и к весне он уже не дублёр, а полноправный член труппы.

Клара снова работает, днём – администратором в зубном кабинете, по вечерам – официанткой в ресторане на Юнион-сквер. По выходным корпит над сценарием своего шоу, каждый месяц откладывает деньги, хоть по чуть-чуть. По воскресеньям Саймон с Кларой вместе ужинают в индийском ресторане на Восемнадцатой улице. В один из воскресных вечеров Клара приносит с собой папку из манильской бумаги, перетянутую резинкой и набитую фотокопиями: зернистые чёрно-белые фото, вырезки из газет, старые программки и рекламные листовки. В разложенном виде они занимают весь стол.

– Это, – объясняет она, – бабушка.

Саймон склоняется над столом. Мать Герти ему знакома по фотографии над Клариной кроватью. На первом снимке она вместе с высоким брюнетом стоит на спине у скачущей лошади – низенькая, плотная, в шортах и блузке-ковбойке, завязанной узлом на животе. На следующем – это титульный лист программки – у неё осиная талия и крохотные изящные ступни. Одной рукой она придерживает край юбки, в другой сжимает шесть поводков, на каждом по мужчине. Внизу текст: “КОРОЛЕВА БУРЛЕСКА! Посмотрите, как мисс КЛАРА КЛАЙН исполняет ТАНЕЦ ЖИВОТА, и мускулы её дрожат, как холодец на ветру, – из-за этого ТАНЦА потерял голову сам Иоанн Креститель!”

Саймон хмыкает:

– Мамина мама?

– Ага. А это, – Клара указывает на наездника, – мамин отец.

– Ничего себе! – Красавцем его не назовёшь – толстые брови, густые усы, крупный нос, как у Герти, – но есть в нём некое властное обаяние. Он чем-то похож на Дэниэла. – Как ты узнала?

– Сбирала материалы. Бабушкиного свидетельства о рождении я не нашла, но знаю, что прибыла она на остров Эллис в 1913-м, на корабле “Альтония”. Она была из Венгрии, и, думаю, сирота. Тётя Хельга приехала позже. А бабушка приплыла с женской танцевальной труппой и жила в пансионе – “Доме баронессы де Хирш для трудящихся девушек”.

Клара показывает листок с копиями нескольких фотографий: большое каменное здание; столовая, где сидят девушки, – целое море тёмных голов; портрет суровой дамы – той самой баронессы де Хирш – во всём чёрном: блузка с воротником-стойкой, перчатки, квадратная шляпка.

– Подумай, что бы с ней стало – еврейка, без родных. Если бы не пансион, она, скорее всего, оказалась бы на улице. Но место это было и вправду приличное. Девушек там учили шитью, готовили к раннему замужеству, а бабушка была не такая. В конце концов она оттуда сбежала – и занялась этим, – Клара указывает на программку бурлеска, – стала артисткой водевиля. Выступала в танцзалах, паноптикумах, парках развлечений и в пятицентовых помойках, так называли тогда дешёвые кинотеатры. А потом встретила его.

Клара бережно достаёт спрятанный под программкой листок и протягивает Саймону. Свидетельство о браке.

– “Клара Клайн и Отто Горски”, – читает вслух Клара. – Он был наездник-ковбой в цирке Барнума и Бейли, чемпион мира. Итак, моя теория: бабушка встретила Отто на гастролях, влюбилась и пошла работать в цирк.

Очередная фотография: Клара-старшая съезжает вниз из-под купола цирка на верёвке, держась за неё зубами. Внизу подпись: “Клара Клайн и её «Хватка жизни»”.

– Для чего ты мне всё это показываешь? – не понимает Саймон.

У Клары пылают щёки.

– Готовлю программу, фокусы плюс смертельный трюк. Учусь делать “Хватку жизни”.

Саймон давится овощным карри.

– Ты с ума сошла! Ты же не знаешь, как она это делала! Наверняка есть какой-то секрет.

Клара качает головой:

– Нет никакого секрета – всё было по-настоящему. А Отто, бабушкин муж? Упал с лошади и разбился насмерть в 1936-м. После этого бабушка с мамой вернулись в Нью-Йорк. В 1941-м она делала “Хватку жизни” на Таймс-сквер – съезжала на верёвке с крыши “Эдисон-отеля” на крышу театра “Палас”. И на полпути сорвалась. И погибла.

– Боже! Почему мы ничего не знали?

– Мама никогда не рассказывала. В те времена это был большой скандал, и, мне кажется, мама всегда стыдилась бабушки. Ведь та была не такой, как все. – Клара кивком указывает на фото, где мать Герти скачет на лошади в ковбойке, завязанной узлом на животе. – Да и дело это давнее – маме было всего шесть лет, когда бабушка погибла. После этого маму взяла к себе тётя Хельга.

Саймон знает, что Герти растила бабушкина сестра, старая дева с ястребиным носом, говорившая в основном по-венгерски. На все еврейские праздники она приходила к ним на Клинтон-стрит, семьдесят два, приносила карамельки в цветной фольге. Но ногти у неё были длинные, острые, и пахло от неё как из шкафа, который не открывали лет десять, и Саймон всегда её побаивался.

Он смотрит, как Клара складывает фотографии обратно в папку.

- Клара, не надо. Ты рехнулась.

- Умирать я не собираюсь.

- Откуда ты, чёрт подери, знаешь?

- Знаю, и точка. - Клара открывает сумочку, прячет туда папку, застёгивает молнию. - Отказываюсь умирать, и всё тут.

- Да, - отвечает Саймон, - как и все на свете люди до тебя.

Клара молчит. Она всегда так, если что-то вбила в голову. "Как собака с костью", - говорила Гerti, но это не совсем точно. Просто Клара замыкается в себе, до неё не достучаться, будто уходит в другой мир.

- Вот что, - Саймон касается её руки, - а название ты уже придумала? Для своей программы?

Клара улыбается по-кошачьи: острые клычки, блеск в глазах.

- "В поисках бессмертия", - заявляет она.

Роберт держит лицо Саймона в ладонях. Саймон только что проснулся в ужасе после очередного дурного сна.

- Чего ты так боишься? - спрашивает Роберт.

Саймон качает головой. Четыре часа дня, воскресенье, и почти весь день они провалялись в постели, не считая получаса, когда ели яйца в мешочек и хлеб с вишнёвым вареньем.

Слишком уж всё хорошо - хочет он сказать, - это ненадолго. Следующим летом ему исполнится девятнадцать - долгая жизнь для кошки или птицы, но не для человека. Он никому не рассказывал ни о гадалке с Эстер-стрит, ни о её приговоре, а срок как будто приближается с удвоенной скоростью. Однажды в

августе он, прыгнув в тридцать восьмой автобус, доезжает до парка “Золотые ворота” и шагает по каменистой тропе до мыса Лендс-Энд. Кипарисы, полевые цветы, развалины купален Сатро. Сто лет назад здесь был настоящий человеческий аквариум, теперь от него остались руины. Но ведь были же они роскошными когда-то! Даже рай – в первую очередь рай – и тот не вечен.

Зимой “Корпус” начинает готовить весеннюю программу, “Миф”. В первой части Томми и Эдуардо изображают Нарцисса и его Тень, в точности повторяя движения друг друга. Затем следует “Миф о Сизифе”: девушки исполняют ряд движений, что-то вроде рондо. В заключительной части, “Мифе об Икаре”, у Саймона первая в жизни главная роль: он – Икар, Роберт – Солнце.

На премьере он парит вокруг Роберта. Круги сужаются. За спиной у него пара широких крыльев из воска и перьев, как те, что сделал дядя Икара Дедал. Оттого что приходится танцевать с девятью килограммами за спиной, у Саймона кружится голова, и он рад, когда Роберт наконец снимает с него крылья, пусть это и означает, что воск растаял, а Саймон – Икар – должен погибнуть.

Когда музыка – “Варшавский концерт” Ричарда Аддинселла – близится к кульминации, душа Саймона будто взмывает над землёй. Тоска по родным теснит ему сердце. “Видели бы вы меня сейчас!” – думает он. Но никого из родных рядом нет, и он льнёт к Роберту, когда тот выносит его на руках в середину сцены. Свет вокруг Роберта затмевает всё: и зрителей, и других артистов, что смотрят на них из-за кулис.

– Я тебя люблю, – шепчет Саймон.

– Знаю, – откликается Роберт.

За громкой музыкой никто их не слышит. Роберт опускает Саймона на пол. Саймон ложится, как учил Гали: ноги поджаты, руки тянутся к Роберту. Роберт, прикрыв Саймона крыльями, отступает вглубь сцены.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Настольная игра с фишками и кубиком. – Здесь и далее примеч. перев.

2

“Волшебник пинбола” (Pinball Wizard) – композиция группы The Who из рок-оперы “Томми”.

3

“Стоунволл-инн” (Stonewall Inn) – гей-бар на Кристофер-стрит в манхэттенском квартале Гринвич-Виллидж. В 1969 г. полицейская облава в “Стоунволл-инн” привела к первому крупному протестному выступлению геев, вошедшему в историю как “стоунволлские бунты”. В 2000 г. “Стоунволл-инн” объявлен национальным историческим памятником.

4

Джеймс Эрл Рей (1928–1998) – предполагаемый убийца Мартина Лютера Кинга. Был приговорён судом к 99 годам заключения.

5

Серхан Бишара Серхан (р. 1944) – палестинец, антисионист; согласно общепринятой версии, 5 июня 1968 г. застрелил Роберта Кеннеди, кандидата в президенты СИТА. В 1969 г. был приговорён к смертной казни, впоследствии приговор был смягчён до пожизненного заключения.

6

Кугель – блюдо традиционной еврейской кухни, вид запеканки (на идише означает “круглый”).

7

Так называют в Индии бабушку по отцовской линии.

8

Авода Зара (букв, “служение чужим”, т. е. идолопоклонство) – в иудаизме один из трактатов Талмуда, посвящён взаимоотношениям между иудеями и язычниками, запрещает идолопоклонство в любой форме.

9

Криа (доел, “разрывать”) – еврейский траурный обычай: во время похорон родные покойного надрезают свою одежду в области сердца.

10

Шива – первые семь дней траура в еврейской традиции.

11

Миньян – в иудаизме кворум из десяти взрослых мужчин (старше 13 лет), необходимый для общественного богослужения и для ряда религиозных церемоний. Миньян нужен для того, чтобы произнесённая молитва считалась молитвой всей общины, а не индивидуальной.

12

Здесь имеется в виду игра, где ведущий отдаёт остальным игрокам приказы, начинающиеся со слов “Саймон говорит...”.

13

Фейгеле (идиш) – птичка, но на сленге так называют гомосексуалов.

14

“Диггеры” (The Diggers) – уличный импровизационный театр в районе Хайт-Эшбери в Сан-Франциско в 1966–1968 гг.

15

Гэри Снайдер (р. 1930) – американский поэт, эссеист, преподаватель, представитель битничества и “Сан-Францисского ренессанса”. 14 января 1967 г. вёл самый крупный митинг-концерт хиппи, собравший более 20 тыс. человек, на стадионе для поло в парке “Золотые ворота”.

16

Движения танца гоу-гоу.

17

Вниз (фр.).

18

“Поправка номер шесть” (“Инициатива Бриггса”) – законопроект, предложенный в 1978 г. Джоном Бриггсом, о принудительном увольнении из государственных школ гомосексуальных учителей.

19

“Дайки на байках” (Dykes on Bikes, Лесбиянки на мотоциклах, англ.) – международная сеть лесбиянок, предпочитающих мотоциклы как средство передвижения. Впервые появились на гей-параде в Сан-Франциско в 1976 г.

20

Харви Бернارد Милк (1930–1978) – американский политический деятель, первый открытый гей, избранный на государственный пост в штате Калифорния. Убит 27 ноября 1978 г. в Сан-Франциско.

21

“Чёрный ящик” (Black box theatre) – небольшой экспериментальный театр с минимумом декораций, обычно такие театры устраивали в заброшенных зданиях – бывших кафе, магазинах, складах.

22

“Суда” (Sula, 1972) – роман американской писательницы Тони Моррисон о судьбе афроамериканки в Огайо в период между двумя мировыми войнами; в 1973 г. выдвигался на Национальную книжную премию США.

23

“Человек футбола” (The Football Man, 1968) – книга знаменитого спортивного обозревателя Артура Хопкрафта, сборник его лучших статей о футболе.

24

Линн Суонн (р. 1952) – игрок в американский футбол, преподаватель, политический деятель.

25

Со-де-баск (фр. saut de basque, “прыжок басков”) – прыжок с одной ноги на другую с поворотом в воздухе.

Купить: https://tellnovel.me/bendzhamin_hloya/bessmertniki

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)